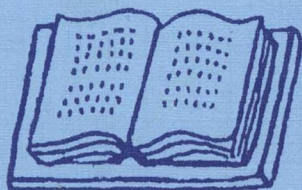


Тамара Жирмунская



**БИБЛИЯ**

**И**

**РУССКАЯ**

**ПОЭЗИЯ**



ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

---

**БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ**



Издательство «Изограф»

Москва

1999

**Жирмунская Т.А.**

Ж 73 Библия и русская поэзия — М.: «Изограф», 1999. — 180 с.  
ISBN 5-87113-075-5

В основе книги 12 бесед, объединенных единой идеей: через родную поэзию вернуть читателям христианские ценности, утраченные за последние десятилетия.

Попытка автора перечитать стихи любимых поэтов под определенным углом зрения у одних вызовет протест, у других — понимание и сочувствие. О поэтах пишет поэт — это примиряет с невольной тенденциозностью бесед.

Книга адресована, прежде всего, юношеству, ищущему смысла жизни.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Вступление</b> .....	5
<b>Беседа первая</b> «Боже! кто я, нища тварь?» (В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов) .....	9
<b>Беседа вторая</b> «Я царь — я раб — я червь — я Бог!» (Г. Державин) .....	22
<b>Беседа третья</b> «Не говори с тоской: их нет...» (В. Жуковский) .....	41
<b>Беседа четвертая</b> «Мой дух! доверенность к Творцу!» (К. Батюшков) .....	55
<b>Беседа пятая</b> «Ум ищет Божества...» (А. Пушкин) .....	67
<b>Беседа шестая</b> «И в небе земное его не смутит.» (Е. Боратынский) .....	79
<b>Беседа седьмая</b> «Покров, накинутый над бездной.» (Ф. Тютчев) .....	87
<b>Беседа восьмая</b> «Молись, страдай... — и выстрадай прощенье.» (М. Лермонтов) .....	102
<b>Беседа девятая</b> «Всю душу вместе с вами слить...» (А. К. Толстой) .....	118
<b>Беседа десятая</b> «Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!» (В. Соловьев) .....	134
<b>Беседа одиннадцатая</b> «Ты победил, Галилеянин!» (К.Р.) .....	146
<b>Беседа двенадцатая</b> «Впереди Иисус Христос.» (А. Блок) .....	157



---

*Основные сокращения:*

Мф. — Евангелие от Матфея

Мк. — Евангелие от Марка

Лк. — Евангелие от Луки

Ин. — Евангелие от Иоанна

---

## ВСТУПЛЕНИЕ

– Оправдываться будете на Страшном суде, – насмешливо говорил мой отец, когда кто-нибудь из близких или знакомых начинал занудно и не очень убедительно объяснять причину своего опоздания, или невыполненного обещания, или неблагоприятного поступка.

«Страшный суд»! Я не понимала смысла этих высокаторжественных слов, но они невольно западали в память. И остались там. В восьмом классе, когда ученики в обязательном порядке учили наизусть «Смерть поэта» Лермонтова, отроческое внимание зацепили строки:

*Но есть и Божий суд, наперсники разврата!  
Есть грозный Судия: он ждёт,  
Он недоступен звону злата,  
И мысли и дела он знает наперёд...*

Так в далёкие и, по общему мнению, атеистические времена смутное представление о чём-то высшем, чем привычное, изредка всплывающее в разговорах взрослых (того-то осудили; я ещё не знала, что имя осуждённым – легион; а того-то оправдали) коснулось моего сознания.

Что знали школьники 50-х о пророках? Если иметь в виду библейских пророков, Амоса, Исаяю, Иеремию, вестников Царства Божия, чьи книги включены в Ветхий Завет, то ничего. Но входили же в хрестоматии стихи Пушкина и Лермонтова с одинаковым названием, хотя и противоположным содержанием. Помните у Пушкина:

*Встань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполни волею моей,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей.*

Лермонтовский пророк выглядит иначе. От победоносного глашатая Бога, носителя высшей истины не осталось и следа. Правда, тварь земная ему покорна, звёзды его слушают, радостно играя лучами. Но венец тварного мира, человек, знать не хочет никакого пророка. То-то он торопливо пробирается через «шумный град». Увы, роль отвергнутого пророка, угаданная Михаилом Юрьевичем, слишком знакома нам по истории отечественной поэзии двадцатого века...

*Смотрите ж, дети, на него:  
Как он угрюм, и худ, и бледен!  
Смотрите, как он наг и беден,  
Как презирают все его!*

Очень удивились бы мои сверстники, и я вместе с ними, узнай мы вовремя, что великие русские поэты черпают вдохновение в некоем вековечном источнике. Что образ «И уголь, пылающий огнём,/ Во грудь отверстую водвинул» не изобретён гением Пушкина. Вот что написано в 6-й главе Книги пророка Исая: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис., 6 - 6,7).

В годы, когда я училась, не принято было докапываться до истоков, даже если исток – Книга книг: Библия. Как будто Пушкина может умалить то, что он припал к этому первоисточнику!

Судьба сложилась так, что поэзия стала делом моей жизни, моей профессией (впрочем, мне всегда было стыдно на вопрос «кто вы по профессии?» отвечать: «я - поэт!»). Естественно, я заинтересовалась, скорее рано, чем поздно, опытом предшественников. Уже окончив школу и институт, впервые я не «проходила» поэтов, а останавливалась, чтобы всмотреться попристальней хотя бы в любимых. Не «сдавала» их оптом и в розницу, а оставляла «для внутреннего употребления». И так называемые классические поэты сыграли со мной вот какую шутку: они расчистили поле для веры, когда со всех сторон шёл натиск в лучшем случае равнодушия, а чаще безверия.

*Безверием палим и иссушён,  
Невыносимое он днесь выносит,  
И сознаёт свою погибель он,  
И жаждет веры, но о ней не просит, –*

страдал за моих окаменевших современников Тютчев. Оказывается, безверие – мука, смерть при жизни? А я и не догадывалась...

*Царь Небес, успокой  
Дух болезненный мой,  
Заблуждений земли  
Мне забвенье пошли  
И на строгий твой рай  
Силы сердцу подай, –*

вычитала я в старинном издании Боратынского (из моего, карманного, стихи эти были «заботливо» кем-то удалены, чтобы, значит, не гнила советская молодёжь на корню). И снова потрясение: если уж Боратынский так полагается на Царя Небес, то значит ... Он... существует?

Да, с моим идеологическим воспитанием вышла промашка. В железном занавесе, отделившем человеческую особь от религии, обнаружилась прореха. Причём, не одна. Главное орудие всякого пишущего, равно как и говорящего, – язык оказался пронизан выражениями, что стремились и увлекали от земли куда-то ввысь. В неюные уже годы впервые прочитав четыре Евангелия, я больше всего поразила тому, что язык, которым пользовалась с младенчества, который, действительно, впитала с молоком матери, полон евангельских, библейских фраз и мы нещадно эксплуатируем их, чаще всего не подозревая, откуда они взяты, каков их истинный смысл.

В пору студенчества на меня, как на многих читателей с открытым сознанием, произвела большое впечатление книга В. Дудинцева «Не хлебом единым». Кажется, ни один литератор, участвовавший тогда в шумной дискуссии вокруг романа, не упомянул, что его название взято из «Евангелия от Луки» и звучит так: «Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк., 4,4). А ведь вспомни об этом хвалящий или хулящий, спор мог бы приобрести куда более интересное звучание!

«Глас вопиющего в пустыне», «лукавый раб и ленивый», «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», «мерзость запустения», «претерпевший же до конца спасётся» – несть числа словосочетаниям из Евангелий, ставшим крылатыми, вошедшим в золотой фонд языка. Сам же Иисус, да и евангелисты широко цитировали книги Ветхого Завета – первой части Библии, – включая всем, я думаю, известное: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Бытие, 2,24).

Но вернёмся к теме «Библия и русская поэзия». И без объяснений понятно, как глубоко укоренена поэзия именно в родном языке.

«Лучшие слова в лучшем порядке» – сказал кто-то о стихотворстве. Фамилию запомнила. А вот автор другого афоризма: «Прекрасный наш язык способен ко всему» заслужил, чтобы имя его помнили. Су-мароков Александр Петрович. Один из троицы поэтов XVIII века, с которой хочу начать наши беседы.

## БЕСЕДА ПЕРВАЯ

### «Боже! кто я, нища тварь?»

(В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Ломоносов)

В середине позапрошлого века вышла книга «Три оды». Авторы од, каждый на свой лад, перелагали 143-й псалом, который любой заинтересованный может найти в Псалтири. Почему Псалтирь, книга Ветхого Завета, повествующая о событиях до рождения Христа, нередко помещается под одной обложкой с Новым Заветом, вместе с Евангелиями, Посланиями Апостола Павла, Откровением Святого Иоанна Богослова (Апокалипсисом)?

Нам трудно даже представить, что значила Псалтирь для наших предков. Самая читаемая на Руси книга! По Псалтири учились грамоте! Начавшая создаваться за тысячу лет до Рождества Христова, она удивительно близка духу Евангелий.

150 молитв, составляющих Псалтирь, приписывают древнееврейскому царю Давиду, хотя известно, что у них были разные авторы. Нередко царя Давида изображают с чем-то вроде арфы. Это «мицмор» на библейском иврите, «псалтерион» по-гречески. Отсюда и Псалтирь.

Псалом – благодарение человека Создателю, твари – Творцу. В житейском обиходе слово «тварь» приобрело чуть ли не унижительное значение. На самом деле, тварь – это всё, что сотворено, «божеское создание, живое существо, от червячка до человека» (словарь Даля). Отсюда и «тварный мир» – выражение философское, богословское, без которого нам не обойтись, хотя обещаю не загружать свои беседы слишком «заумными» словами.

Когда в церкви слышен возглас «Всякое дыхание да хвалит Господа! Аллилуйя», – это наивысшая степень благодарения Создателю от всего тварного мира. Так звучит строка 150 псалма... За что люди должны благодарить мироздателя? За всё! За то, что Он дал жизнь каждому из нас. За то, что дело его – слава и красота; в славе и красоте создал Он этот мир для любования человека. За то, что Он долготерпелив и многомилостив, возлагает на нас бремя, но и спасает от него, путеводит нас в правде, хранит простодушных, знает тайны сер-

дца, поражает врагов наших. За то, что для него тысяча лет, как день вчерашний, что правда и суд – основание престола Его, что в конце времён Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине своей.

(Я не ставлю кавычки, но почти все слова взяты из псалмов).

Благодарение, молитва, покаяние – вот другие названия псалма. Тех, кто захочет узнать о псалмах побольше, отсылаю к содержательной книге Г. П. Чистякова «Тебе поём...», вышедшей в издательстве «Знание» в 1992 году.

143-й псалом, переложением, или парафразисом которого занимались 250 лет назад три известнейших поэта, не столь уж знаменит, хотя речь в нём идёт увы, о жгуче злободневном: псалмопевец просит Господа избавить его «от руки сынов иноплемennых». Он не входит в Шестопсалмие, что читается в церкви во время утренней службы. Но есть в нём одно место, от которого сжимается сердце.

«Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нём, и сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновение; дни его – как уклоняющаяся тень. Господи! Приклони небеса Твои, и сойди; коснись гор, и воздымятся. Блесни молниєю и рассеяй их; пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси от вод многих, от руки сынов иноплемennых, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи».

Конечно, это поэзия чистой воды, но не только! Это и чёткая философская позиция. Древний мудрец не принижает человека, как, может быть, подумают некоторые, на чьём сознании отпечатались пропагандистские клише недавней поры. Он просто понимает: Творец и тварь несоизмеримы. И ещё: Создатель не безразличен к своему созданию. Он «знает» каждого из нас; на каждого «обращает внимание».

Да, псалмопевец молит Бога о помощи в брани с иноплемennиками, – вероятно, жестокой, до победного конца. Придёт Христос и скажет: «любите врагов ваших» (Мф. 5–44). Не забудьте, однако: до Рождества Христова ещё тысяча лет!

Но вернёмся к сборнику «Три оды».

Интересно, как же перелагали нетленный псалом русские поэты, почти наши современники. Почему «современники»? Да потому, что четверть тысячелетия, отделяющая нас от них, меркнет перед временной толщей, вставшей между ними и автором псалма. Или Время – категория воображаемая и его нет не только по ту сторону, но, по нашему произволению, и по эту?!

Василий Тредиаковский, самый косноязычный из трёх одописцев, создаёт то, что мы назвали бы «вольным переводом», хотя мысль великого предшественника сохраняет в неприкосновенности и даже усиливает повтором:

*Боже! кто я, нища тварь?  
... Как? О! как могу быть царь?*

Александр Сумароков, знаменитый в своё время лирик, сатирик, драматург, держась оригинала, виртуозничает, ибо знает свою власть над словом:

*Правитель бесконечна века!  
Кого ты помнишь! человека.  
Его весь век как тень преходит:  
Все дни его есть суета.  
Как ветер пыль в ничто преводит,  
Так гибнет наша красота.  
Кого ты, Творче, вспоминаешь!  
Какой ты прах днесь прославляешь!*

Разожжённый от негаснувшей искры, стих Михаила Ломоносова вздымается упругим костром:

*О Боже! что есть человек?  
Что Ты ему себя являешь,  
От твари больша быть вменяешь,  
Которого толь краток век.  
Он утро, вечер, ночь и день  
Во тщетных помыслах проводит;  
И так вся жизнь его преходит,  
Подобно как ночная тень.  
Склони, Владыко, небеса,  
Коснись горам, и воздымаются;  
Пусть паки на земле явятся  
Твои ужасны чудеса.  
И молнию Твою блесни;  
Бросай от стран гремящих стрелы;  
Рассыпь врагов Твоих пределы,  
Как плевы бурей разжени.*

Поглощённых неисчерпаемым содержанием псалма и его пере­ложений, нас едва ли особенно заинтересует, что все три оды писали как бы на конкурс: участники сборника доказывали друг другу преимущества разных стихотворных размеров, Тредиаковский – хорея, Сумароков и Ломоносов – ямба (иамба – писалось тогда). Возможно, пииты и выбрали не очень популярный псалом, чтобы с академической невозмутимостью провести свой эксперимент. Правда,



невозмутимости не получилось – поэтический темперамент взял своё.

Ещё страстнее и куда более лично звучит у Третьяковского «парафраза» псалма 6. Как раз шестой входит в Семь псалмов, известных в своё время (во всяком случае на Западе) каждому мирянину, а не только монаху, твердых наизусть даже теми, кто плохо знал латынь.

Приведу то место из псалма, что, на мой взгляд, особенно удалось переложателю:

«Утомлён я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие; ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою».

Третьяковский:

*Очи с плача помутились,  
От врагов весь сокрушён;  
Пагубно в себе озлились,  
К ненависти уклонились;  
Я надежды уж лишён.  
Отступите от меня, лукавцы:  
Богом вопль услышан мой.  
Отступите все тщеславы  
И вы, лжи за правду давцы,  
Злобе преданны самой.  
Бог уж от меня молитву  
Милостивым слухом внял;  
Презираю вашу битву,  
Лестных и сетей ловитву:  
Бог моление приял.*

Пожалуй, только слово «ловитва» (ловля, охота, преследование) требует объяснения. Остальное понятно и, главное, понятно, как не терпелось поэту излить душу через псалом.

Было, было, на что и на кого жаловаться Василию Кирилловичу, из-за чего омывать ложе своё слезами. Уроженец Астрахани, попovich по происхождению (разночинец задолго до появления исторических «разночинцев»), Третьяковский свою жизнь превратил в литературный подвиг; возвращая слову его первоначальное, духовное значение: совершить подвиг – значит подвигнуть себя на большое дело. Он и подвиг. Изучил латынь в школе, основанной монахами-капуцинами, учился в Славяно-греко-латинской академии, слушал лекции в Сорбонне. Пушкин, отдававший должное главному преобразователю

русского стиха, приводит слова Петра Великого, произнесённые, когда представили ему двенадцатилетнего школьника, Василья Тредьяковского: вечный труженик! Поразительное пророчество.

Писал стихи – написал многие тысячи строк; трактаты, в том числе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» – неувядаемый гибрид учёности и собственного поэтического опыта, вечно свежий плод, подаренный всем нам, пишущим и читающим стихи, на века вперёд; без конца переводил. На одну «Историю римских императоров» в 30 томах потратил 30 лет жизни. По тому – в год. Выбился в придворные поэты, в профессора элоквенции (красноречия).

Но был постоянным предметом насмешек – двора и... коллег. Ну, двора – ладно! Ещё не установилось то хрупкое равновесие между поэтом вообще и властью предрежащими, которое можно выразить графиком, напоминающим американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. Челядь при любом дворе всегда глазеет на барина, на барыню – что они? Тредиаковскому досталось «бабье царство». При Анне Иоановне он был бит «палкою по голой спине», сначала 70, а потом для ровного счёта ещё 30 раз. Как можно разглядеть в тумане истории, за некоторую заминку с согласием выполнить «социальный заказ»: написать оду на потешную свадьбу шута и «шутихи» (не путать с фонтаном!), для коих строился всем известный по роману Лажечникова «ледяной дом». Екатерина II изощряла на нём своё остроумие. При этой просвещённой императрице у входа в Эрмитаж висели правила поведения, как то: «Оставить все чины вне дверей равномерно как и шляпы и наипаче шпаги. Быть весёлым, однако ничего не портить и не ломать и ничего не грызть». Так вот: тем, кто «противу 3-х статей в один вечер поступится», вменялось в обязанность выучить 6 строк из «Тилемахиды» Тредиаковского наизусть. Имелось в виду поэтическое переложение романа Фенелона «Похождения Телемака, сына Улисса», в которое переводчик вложил все свои недюжинные силы.

«Безбожник и ханжа» – так назвал его Ломоносов, и, видимо, громогласно назвал, раз до нашего времени докатилась худая слава. А исторический писатель Лажечников в «Ледяном доме» одел на нашего героя «власяницу бездарности» и «вериги для терпения». Не намёк ли на то, что он – сын попа?

Справедливо всё это? Нет, не справедливо!

Тредиаковского я вижу первым в длинном ряду русских поэтов, вечных страдальцев, вечных тружеников, вечных искателей истины. На плечах у него шуба с барского плеча (как ужасно аукнулась она через полтора с лишним века в судьбе Мандельштама, тоже осчастливленного шубой, но уже не битого, а убитого временщиками), под душным мехом болят и чешутся рубцы от палочных ударов. А в пальцах, заскорузлых от гусяного пера, невидимый миру «псалтерион».

Пересказывая на русский лад столь любимые им псалмы, Василий Тредиаковский обретает проницательность древнего пророка и мужество человека, осознавшего, что он – образ и подобие Божие...

Александр Сумароков, в отличие от предыдущего поэта из нашей троицы, не мог пожаловаться на слишком трудный и крутой путь восхождения. Успех и всегда предупреждаемая им, но далеко не всегда сопровождающая его слава пришли к нему быстро. Чтобы залучить эту капризную чету (в России во всяком случае), потребны таланты, вольнодумство, порядочная образованность. Всё это у Сумарокова было. Начать с последнего: уже в осмысленном детстве, когда оно вот-вот переломится в отрочество, в доме отца, крупного военного петровской закалки, будущего поэта обучал тот же педагог, что и наследника престола.

О широте таланта Александра Петровича говорит простое перечисление литературных жанров, в которых он работал, почти всегда добиваясь зримых положительных результатов: ода, сатира, любовная песня, идиллия, эклога, трагедия, эпиграмма, притча, басня, комедия.

Вольнодумства тоже хватало, пусть, на сегодняшний взгляд, оно шло рука об руку с законопослушанием. Сумароков – рационалист, хотя как художник никогда не отворачивался от чувств, что бескорыстно одаряют нас разнообразными впечатлениями бытия. «Здравым рассуждением, – пишет он, – приближаемся мы к центру познания, которого смертные никогда не могут коснуться. Кто больше до сего центра доходит и кто меньше его преходит, тот справедливее действует».

«Центр познания» – это, очевидно, псевдоним Бога. Во всяком случае, он противостоит смертным – значит, бессмертен. «Здравое рассуждение» – разум в его полном развитии, читай: подкованный образованием. Бог, действительно, непознаваем – поэтому «центра» нельзя «коснуться». К нему можно только приблизиться. А кто же «преходит» (переходит) этот центр? Безумцы? Неверы? Грядущие сверхчеловеки?

Сумароков чётко разделял естество и божество, а естество, в свою очередь, делил на «духи и вещество». «Что духи, я не знаю, – смиренно признавал он ограниченность своего радио, – а вещество имеет меру и вес». Очевидно, в те времена это звучало предерзко. Не пройдёт и двухсот лет, как другой русский поэт, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вряд ли помнившая о Сумарокове, напишет:

*Ни формулы, ни мера вещества  
И ни механика небесной сферы  
Навек не уничтожат торжества  
Без чисел, без механики, без меры.*

И в наступившую безбожную эпоху это опять-таки будет предерзко...

Я говорила преимущественно о Сумарокове-философе – не терпится сказать о Сумарокове-поэте. Его перу принадлежит «Гимн о премудрости Божией в солнце» – стихотворение, украшающее отечественную поэзию, даже если брать её в полном объёме, более чем за три века.

*...Вострепетала тьма, лишь только луч пустился;  
Лишь только в вышине подвинулся небес,  
Горящую стрелой дом смертных осветился,  
И мрак перед тобой исчез.  
О солнце, ты – живот и красота природы,  
Источник вечности и образ Божества!  
Тобой жива земля, жив воздух, живы воды,  
Душа времён и вещества!  
Чистейший бурный огонь, лампада перед вечным,  
Пылающе пред ним из темноты густой,  
Волнующаяся стремленьем быстротечным,  
Висяща в широте пустой!  
... Объемля взором всю пространную державу,  
Вовеки бодро бдя, не дремля николи,  
Великолепствуя, вещаешь Божью славу,  
Хваля Творца по всей земли.*

Читатель, знакомый с обиходом православной символики, увидит в «образе Божества» Христа. Как солнце – главное небесное светило, так Христос – источник света для верующего в Него. Мы же, не столь преуспевшие в вере, воспринимаем стихи как гимн Божию величию. К ним, кстати, вплотную примыкают стихи Ломоносова (гораздо более известные), кои так и называются: «Утреннее размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния».

Чтобы лучше понять Сумарокова, хочу обратиться к его стихотворению «Из 145 псалма». Самый псалом, в некотором сокращении, читается так:

«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, Сотворившего небо и землю, море и всё, что в них, вечно хранящего верность, Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников; Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбленных; Гос-

подь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову; а путь нечестивых извращает...»

Вот сумароковская интерпретация:

*Не уповайте на князей;  
Они рождены от людей,  
И всяк по естеству на свете честью равен,  
Земля родит, земля пожрёт:  
Рождённый всяк, рождён умрёт,  
Богат и нищ, презрен и славен.  
Когда исчезнут лести те,  
Которы данны суете,  
И чем гордились бесстыдно человеки,  
Скончатся их кратки дни,  
И вечно протекут они,  
Как гордые, шумя, текущи быстро реки.  
Когда из них изыдет дух,  
О них пребудет только слух,  
Лежащих у земли бесчувственно в утробе:  
Лишатся гордостей своих,  
Погибнут помышленья их,  
И пышны титла все сокроются во гробе.*

Попытаемся пробиться к смыслу через некоторую корявость слога, непривычные усечения слов, затруднённый их порядок и другие натяжки. Современники Сумарокова и он сам имели дело с необработанным, тяжеловесным языковым материалом, ворочали глыбами грубой породы, где в таинственной глубине посверкивали изумруды и сапфиры истинной поэзии. Их предстояло извлечь оттуда, очистить от шубы, найти естественную ритмическую оправу. Будем благодарны им за это! В сложном слове «труднодоступность» удивимся не первой, а второй части...

Сравнивая переложение псалма с могучим оригиналом, находим много обидных утрат. Где же тут про обиженных, в чью пользу творит Господь свой суд, про алчущих, кому Он даёт хлеб? Где про узников, на выручку которым приходит Высшая сила? А «пришельцы», напоминающие о наших беженцах, тоже, оказывается, угодные Богу, а эти вечные вдовы и сироты, заполняющие все ниши, отданные под милосердие, в каждом столетии, в каждом тысячелетии?.. Преуспевающему и, как видно, богатому Сумарокову не до них?! Нам, выросшим в твердокаменные времена, дороже всего в 145 псалме именно эта нота глубокого сопереживания.

Но не будем так уж строги к одному из отцов русского литературного языка – все мы жнём с посеянного им поля. У него была своя

система взглядов, свои болевые точки, и в духовных одах он заострял внимание на том, что его особенно волновало. Разве не назвал он своё творение «Из 145 псалма», тем самым подчеркнув, что не претендует на пересказ всего его внутреннего богатства? Здорово ему, видать, досталось от «князей», от сильных мира сего, если он составил такой желчный обобщённый портрет вельможи («шишки» – сказали бы мы теперь), кто пребывает в лести, в суете, бесстыдно гордится пышными титулами, забыв о краткости земного срока. Судя по всему, эти стихи Александр Петрович написал незадолго до смерти. С блестящей карьерой давно было покончено. Пост директора любимого его детища, Российского театра, занимал другой. Сумарокова «ушли» в отставку. И не оказалось под рукой иного орудия отмщения, кроме Псалтири...

В оде сконцентрированы задушевные мысли поэта. В том, что люди все равны честью, а также равны «по естеству», то есть по природе, он был незыблемо уверен, а это, согласитесь, достаточно крамольная мысль для подданного крепостнического государства.

*... от баб рождённым и от дам  
Без исключения всем пратец Адам, –*

настаивал поэт в одной из своих сатир.

Меньше всего я хочу представить Сумарокова таким предтечей социалистов. Ничего «социалистического» в его взглядах не было. Просто это был широкомыслящий талантливый человек, прекрасно знакомый и с дохристианской, и христианской философией, тысячи лет назад задававшей теми же вопросами: о вере и безверии, о равенстве и неравенстве, о законности и беззаконии, чести и бесчестии, жизни и смерти. О перемене государственного строя в России он и не помышлял, убеждённый в том, что

*Порядок естества умеет Бог уставить  
И в естестве себя великолепно славить.*

«Неправедных судей» (есть у Сумарокова стихи с таким названием) призывал к порядку, ссылаясь именно на Божию, а не человеческую правду, которую можно выворачивать и так и сяк:

*Иль вы не помните, в ожесточеньи тверды,  
Что Вышний справедлив, а вы немилосерды?  
Иль вы не верите, что Бог неправду мстит  
И вам стенание невинных отплатит?*

Помните, в 145 псалме говорилось о «пути нечестивых», которые «извращает» Бог? «Извращает» – значит, меняет по своему ус-

мотрению. Рассуждая о «неправедных», или, как мы выразились бы теперь, «несправедливых», «необъективных», «бесчестных» судьях, поэт в сущности повторяет ту же мысль. Путь нечестия ведёт в тупик. Божией милостью приводит совсем не туда, куда как будто вёл, – мимо цели.

Хотя, по Сумарокову, и господа и простолюдины равны честью, другими словами, каждый, кто бы он ни был, волен выбирать честную или нечестную стезю, «Сатиру о честности» Сумароков обращает к людям своей среды – дворянству, придворным кругам: им больше дано – с них больше и спрашивается.

«Но что такое честь?» – задаётся вопросом автор. И дивится людской путанице понятий.

*...один победой льстился,  
И пьян со пьяным он за честь на смерть пустился;  
Другой приятеля за честь поколотыл,  
Тот шутку лёгкую пощёчиной платил...  
...Премерзкий сувенир шлёт ближнего во ад  
И сеет на него во всех беседах яд.  
Премерзкий атеист Создателя не знает,  
Однако тот и тот о чести вспоминает.  
Безбожник, может ли тебя почитать кто,  
Когда ты самого чтишь Бога за ничто?..  
А истинная честь – несчастным дать отрады,  
Не ожидаячи за то себе награды;  
Любяти ближнего, Творца благодарить,  
И что на мысли, то одно и говорить...*

Современно? Весьма! Даже чересчур... А ведь 200 с хвостиком лет мелькнуло. «Как нам жить? Утрачены все ориентиры!» – слышится вперемешку с руганью, проклятьями, матом, криками «караул! помогите! грабят!» (а то и «убивают!»). И вот с Библией в одной руке, с томиком «старомодных» поэтов в другой – пытаешься докопаться до истины, отделить зёрна от плевел, вечные ценности от сиюминутных фальшивок...

С детства мы помним из стихов Некрасова четыре строчки:

*Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик  
По своей и Божьей воле  
Стал разумен и велик.*

Обратите внимание на слово «разумен». У поэтов не бывает пустых слов. На месте данного определения могло стоять другое: из-

вестен, прославлен, усерден и т.д. Но у Некрасова: разумен. Стал – значит, раньше не был. Ходил под парусами с отцом-помором в Ледовитый океан, развивал сноровку и мощь мускулов, но разумен не был. А стал, когда – чудо-то какое! – добравшись до Москвы с рыбными обозами, ухитрился поступить в Славяно-греко-латинскую академию, единственное в России высшее учебное заведение. Где и с античными поэтами познакомился, и с античными мудрецами, где впитал дух основателя её Симеона Полоцкого, автора «Псалтири рифмотворной», которой восхищался ещё подростком.

Любопытно, что, посланный в числе лучших учеников в Германию пополнить образование, Михаил Васильевич обучался у тогдашнего властителя дум Христиана Вольфа в Марбурге. А лет этак через 175 в том же Марбурге, у философа новых времён Германа Когена появится слушатель из России Борис Пастернак. Ни тот ни другой не станут любомудрами, а станут поэтами. Слава Ломоносова-учёного затмит славу Ломоносова-поэта, но в отечественной словесности ему принадлежит уникальное место. Русский стих в его современном звучании, оперённый мужскими и женскими рифмами, с явно первенствующим ямбом, – это стих Ломоносова. Отдававший ему должное Пушкин не без иронии писал, что Ломоносов «надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул». И ещё хлеще: «стихосложение шагнуло один раз и стало в пень». Конечно, это говорилось задолго до Маяковского и даже Некрасова, преобразовавших (впрочем, в пределах узнаваемости) ломоносовский стих.

«Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» – длинно и точно называет одно и своих библейских «преложений» Михаил Васильевич. Об Иове, персонаже Ветхого Завета, размышляют, спорят не последние умы человечества многие сотни лет. Кто же такой Иов? Праведник, которого без вины карает Бог! Всем нам приходилось слышать от людей неверующих или слабоверующих: «Что вы нам пудрите мозги! Нет никакого Бога, поскольку на земле столько зла! Включите телевизионные новости – вот вам лучшая антирелигиозная пропаганда. Войны, Чечня, террористы, крушения поездов, разбившиеся самолёты, землетрясения – если бы был Создатель, он бы этого не допустил!»

Не знаю, у кого хватит бессердечия возразить, что все эти несчастья посылаются на землю за человеческие грехи, за безверие. Может быть, это и так, но лично я не в силах признать такую правду Божией, то есть справедливой и человеческой. Я могу только посочувствовать Иову, у которого Бог отнял детей, богатство, здоровье вовсе без вины, проверяя крепость его веры. И вспомнить, какие аргументы приведены в Библии, дабы пострадавший праведник не разуверился в существовании и непобедимой мощи Творца.



Вот как звучит это место у Ломоносова:

*О ты, что в горести напрасно  
На Бога ропщешь, человек,  
Внимай, коль в ревности ужасно  
Он Иову из тучи рек!  
Сквозь дождь, сквозь вихрь,  
сквозь град блистая  
И гласом грома прерывая,  
Словами небо колебал,  
И так его на распрю звал.  
Сбери свои все силы ныне,  
Мужайся, стой и дай ответ.  
Где был ты, как Я в стройном чине  
Прекрасный сей устроил свет?  
Когда Я твердь земли поставил  
И сонм небесных сил прославил,  
Величество и власть Мою?  
Яви премудрость ты свою!  
Где был ты, как передо Мною  
Бесчисленны тьмы новых звезд,  
Моей возженных вдруг рукою  
В обширности безмерных мест,  
Моё величество вещали;  
Когда от солнца воссияли  
Повсюду новые лучи,  
Когда взошла луна в ночи?..*

Непостижимость панорамы мироздания, во всей его красоте и чудных закономерностях, невозможность не только для одного смертного, но и для всех миллиардов людей, живших когда-либо на земле, повторить и тем более превзойти Великого Зодчего – вот главное доказательство существования Бога. И если Он так могуч, то нам с нашими частными обидами и бедами не мудрее ли прислушаться к Нему, чем вести пустую распрю? Вольно перелагая Книгу Иова, поэт кое-что добавляет и от себя, но добавляет в духе Писания. А именно:

*Сие, о смертный, рассуждая,  
Представь зиждителяву власть,  
Святую волю почитая,  
Имей свою в терпении часть.  
Он всё на пользу нашу строит,  
Казнит кого или покоит.  
В надежде тяготу сноси  
И без роптания проси.*

Последние слова приводят на память Евангелие от Матфея: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят». (7, 7–8).

Приходилось и Ломоносову выступать в роли просителя. О том, как нелегко это ему давалось, свидетельствует перевод из Анакреонта (или Анакреона), греческого поэта, сочинявшего стихи в лёгком жанре.

*Кузничик дорогой, коль много ты блажен,  
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!  
Препровождаешь жизнь меж мягкой травой  
И наслаждаешься медвяною росой...*

Несколько строк опускаю, а конец таков:

*Что видишь – всё твоё; везде в своём дому,  
Не просишь ни о чём, не должен никому.*

Это не Анакреонт. Это автор переложения прибавил к Анакреонту. Вот уж вопль великой души, жаждущей независимости от людей и обстоятельств. На зависимость от Создателя он согласен, но только – от Него! Особенно трогает последнее двустишие, когда узнаёшь: стихи сочинены по дороге в Петергоф (императорскую резиденцию), куда поэт-учёный ехал, чтобы попросить привилегий для Академии наук...

Иные исследователи недавнего прошлого зачисляли Ломоносова чуть ли не в материалисты. Их узкий ум отказывается понять, что наука и религия – не враги, что это два инструмента для познания неисчерпаемого мира, который нас окружает. Религиозными людьми были Коперник и Леонардо да Винчи, Ньютон (писал свой комментарий к Библии), Кеплер, Пастер, Лобачевский, Пирогов, Эйнштейн. Из научных светил последних десятилетий – академик Павлов, академик Конрад, глазной бог Филатов, академик Вернадский, хирург и священник Войно-Ясенецкий... В этом славном ряду стоит и Михаил Ломоносов.

## БЕСЕДА ВТОРАЯ

### «Я царь – я раб – я червь – я Бог!»

(Г. Державин)

В 60-е годы нашего века любителям поэзии стало известно следующее стихотворение Давида Самойлова:

*Рукоположения в поэты  
мы не знали, и старик Державин  
нас не заметил, не благословил.  
В эту пору мы держали  
оборону под деревней Лодвой.  
На земле холодной и болотной  
с пулеметом я лежал своим.  
Это не для самооправданья:  
мы в тот день ходили на заданье  
и потом в блиндаж залезли спать.  
А старик Державин, думая о смерти,  
ночь не спал и бормотал: «Вот черти!  
Некому и лиру передать!»  
А ему советовали: «Некому?  
Лучше б передали лиру некоему  
малому способному. А эти,  
может, все убиты наповал!»  
Но старик Державин воровато  
руки прятал в рукава халата,  
только лиру не передавал.  
Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал,  
что-то молча про себя загадывал.  
(Все занятие – по его годам!)  
По ночам бродил в своей мурмолочке,  
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!  
Пусть пылится лучше. Не отдам!»  
Был старик Державин льстец и скаред,  
и в чинах. Но разумом велик.*

*Знал, что лиры просто так не дарят.  
Вот какой Державин был старик.*

Я начала с этого стихотворения, потому что Гаврила Романович представлен в нем как живой. Из двухсотлетней дали он не тянет к нам руки, желая чего-то, прося о чем-то (о чем? ну, хотя бы о внимании), а наоборот, «руки прячет в рукава халата», не желая иметь с нами дела. За что такая немилость? Узнав дальнейшее, каждый волен сделать свой вывод... Он и рад бы передать лиру. Но кому? Достойные, «может, все убиты наповал», а недостойные менее всего достойны именно лиры. Хорош его портрет, и внешний, и внутренний, хотя Д. Самойлов видит его, конечно, по-своему. Лукавство и суровость. Мнимая житейская податливость и бескомпромиссность в том, что называется «гамбургским счетом» в поэзии, когда профессионал судит коллег. Оказывается, для таких понятий, как преемственность в литературе, времени вообще нет. Молодой, пока безвестный поэт-солдат сороковых годов XIX века (помните «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые»?) и великий Державин, рожденный в сороковые века XVIII, существуют одновременно. Из-под набрякших старческих век, глазами, видевшими юного Пушкина, знаменитый автор «Фелицы» и оды «Бог» критически оценивает новое пополнение в поэтическом полку..

Что важно сказать о Державине – не стихотворном образе, а его прототипе? Недоносок – поспешил на этот свет раньше положенного срока. И застал его в том далеком от совершенства, неуравновешенном состоянии, в каком, если верить Библии, он пребывает со времен грехопадения. Смерть рано унесла отца; мать, мелкая помещица, «чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто ее выслушать порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо».

Юноша с выдающимися способностями (сначала они сказались в рисовании, потом в геометрии) всего три года проучился в Казанской гимназии. Затем его «присвоил к себе» Преображенский полк. Почему, он и сам не знал. Из-за какой-то бумажной неувязки. Вместо того, чтобы оказаться в Инженерном корпусе, оказался сначала в петербургских, потом в московских казармах. Рядовым. Ходил «не только в строй (...), но и во все случающиеся в роте работы, как то: для чищения каналов, для привозки из магазиновна провианту, на вести к офицерам и на краулы в полковой двор и во дворцы».

О том, каково было в ту пору его истинное положение, во всяком случае в глазах высших по субординации и родовитости однополчан, рассказывает мелкий как будто, но красноречивый эпизод.

В одной роте с Державиным в чине прапорщика служил «приятный стихотворец», князь Ф. Козловский. Однажды, явившись к нему в качестве вестового, Державин услышал чтение трагедии в стихах. Весь превратившись в слух, он замешкал у двери.

«Поди, братец служивый, с Богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь», – добродушно выпроводил его князь.

В том самом возрасте, когда создаются шедевры, Державин «находится без всякого призрения и обижен». Не может «удовлетворить склонности своей к наукам». Просится в чужие края, «дабы чему-нибудь там научиться».

Рок, особенно лакомый до русских гениев, и тут не дремал. Солдата, а потом капрала, преследовали мелко-пакостные, чисто отечественного происхождения угрозы здравью и самой жизни. Однажды, стоя на часах в поле позади двора, он чуть не замерз до смерти – такая жестокая случилась стужа. В другой раз среди великих сугробов на Пресне на него набросились голодные собаки. Тяжело ранил на охоте матерый вепрь, мог бы растерзать в клочья, но Державин чудом убил его – с одного выстрела утиной дробью. Обегая ночным дозором недостроенный Зимний дворец, он едва не сверзся с огромной высоты в пролом, наполненный каменными обломками. Дотошно, с подробностями, пересказывая эти ужасы в своих автобиографических «Записках», откуда я беру все цитаты, кроме специально оговоренных, Гаврила Романович заканчивает каждую историю примерно одинаково: «Он перекрестился, воздал благодарение Богу за спасение жизни и пошел, куда было должно».

Об угрозах достоинству, чести, свободе Державина можно говорить долго. Они не кончались во весь век его. Приведу только один пример. Чужую гульливую девку, что хаживала в дом, где жил сержант Державин, подучили указать на него как на виновника ее бесчестия. Мнимого виновника будочники схватили на улице и, ничего не объясняя, повезли через всю Москву в полицию. Там он провел с прочими арестантами сутки. «На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкой обхождении и на ней женился». Волокита длилась неделю. Наконец, за отсутствием улик, задержанного отпустили, сообщив, однако, обо всем в полковую канцелярию.

Согласитесь, что это – неожиданный для нас Державин. Не тот, приближенный ко двору любимец фортуны, сенатор, дважды губернатор и даже министр, в парадном мундире, в орденах причудливой конфигурации, осыпанный ливнем дарственных золотых табакерок и бриллиантовых перстней, которого мы привыкли зреть на портрете. А живой предтеча «маленького человека» – любимого героя русской литературы, изначально сбитый с панталыку, жертва бюрократии.

тической путаницы, жестоких людей и обстоятельств, недоносок, недоучка... чуть не прибавила: «недотыкомка»...

Загулы, картежная игра, шулерство, также неотъемлемые от образа молодого Державина, – не оборотная ли сторона той же медали? Пускался во все тяжкие от невыносимого гнета жизни, непролазных долгов, бедности. Да он и сам говорит: «ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками, или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками...».

Повествование в третьем лице, выбранное автором «Записок» (не «я», а Державин), может быть, кое-где и позволяет похвалить себя выше меры, оправдать, обелить, но зато с самого начала дает возможность взять объективный тон, сохранять ту дистанцию между описателем и описанием, что внушает доверие.

Настал день, когда тонувший в трясине неблагообразия Гаврила Романович совершил самый отчаянный свой поступок: «возгнушавшись сам собою» занял в бессчетный раз деньги в долг, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург». Начинать новую жизнь. Стихи он «марал» давно, иные из них, например, «Христианина в уединении Захария» хвалили его приятели, но, чтобы поскорей проскочить карантинный кордон (с юго-востока распространялось «моровое поветрие» – холера? чума?), обрек на сжигание целый сундук с ранними опытами в стихах и прозе. Как это по-русски: начинать, так на пустом, очищенном от всякого балласта месте!

*Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?  
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?  
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?  
Чем грудь мою тебе осталось поражати?*

.....  
*Невинность разрушил! Я в роскошах забав  
Испортил уже мой и непорочный нрав,  
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился,  
Повеса, мот, буян, картежник очутился;  
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,  
Порочной жизнью его я погубил.*

Раскаяние (так и называются эти стихи) – другое имя покаяния. Без него невозможен разрыв с прежней, вдруг ставшей невыносимой, жизнью, неосуществим подъем по духовной, нравственной, творческой лестнице. Допустим, что в случае с Державиным роль проводника сыграл его поэтический дар, но внутреннее перерождение знакомо множеству людей, вовсе далеких от муз, и происходит по одним и тем же законам.

В своей прекрасной книге о Державине Владислав Ходасевич сумел подсмотреть то, что обычно ускользает от взгляда менее искушенного исследователя. Момент обнаружения в поэте поэта, когда «он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал (...) Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие».

С Державиным это случилось по окончании пугачевской кампании, в минуту душевного затишья, перед новыми грозowymi перевалами его изменчивой судьбы. Поселившись возле пустынного холма Читалагая, неподалеку от недавнего театра военных действий, Державин пишет оды, названные впоследствии «читалагайскими».

Моя задача и сложнее и проще, чем была у Ходасевича. Я не могу указать тот миг (день, месяц, год), когда мой герой обрел христианскую веру. Он получил ее от рождения, а может быть, еще в утробе матери. Как ни заморочена житейскими неурядицами была Фекла Державина, сына она «старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфеток». Совершенное знание славянской Библии и богослужебных песен отмечает у него и Я. К. Грот, самый основательный державиновед.

Но вера, когда речь идет о поэте, не заменяет ни таланта, ни мастерства. «Раскаяние» – искренняя вещь, по-державински пышущая жаром, без малейшего самоупоения, без тени подражательности. Но... стих тяжел, натужен, прорехами зияют приблизительные глагольные рифмы. Говоря образно, поэт, хоть и едет в карете четверней, но по ухабистой валкой дороге.

Иное дело – читалагайская ода «На великость». Невозможно уподобить эти стихи никакому наземному виду передвижения. Сквозь крепко сбитые, ритмически отшлифованные строки брезжит что-то эфирное. Будто на «крыльях холопа» (было же такое в нашей истории) взвивается поэт ввысь. И парит, и не падает, не разбивается, как его крылатый предшественник. Вот она – настоящая державинская поэзия: диалог с «Дщерью мудрости» («Премудрость», согласно Библии, одно из имен Господа), у которой он просит высокого – читай: небесного – духа для себя и для других высших созданий Божиих:

*Живущая в кругах небес  
У Существа существ всех сущих,  
Кто свет из вечной тьмы вознес  
И твердь воздвиг из бездн борющихся,  
Дщерь мудрости, душа богов!  
На глас моей звенящей лиры  
Оставь гремящие эфиры  
И стань среди моих стихов!*

.....

*Светила красныя небес,  
Теперь ко мне не наклоняйтесь;  
Дубравы, птицы, звери, лес,  
Теперь на глас мой не собирайтесь:  
Для вас высок сей песни тон.  
Народы! вас к себе собираю,  
Великость вам внушать желаю,  
И вы, цари! оставьте трон<sup>1</sup>.*

Религиозная струя, орошавшая поэзию Державина и раньше, вздымается все более упруго, бьет все выше, обретает все более чистое звучание, начиная именно с Читалагая...

Внушать царям «великость» в таком неограниченно самодержавном государстве, как Россия, – задача, конечно, богатырская. Не нам решать, чувствовал ли себя Державин, одержавший сразу две победы – над бунтовщиком и над собственным косноязычием, богатырем или нет... Но от той поры, год за годом, среди разных служб и дел, живя в Петербурге или кочуя с места на место, входя в фавор к сильным мира сего или терпя мучительный афронт, не забывает он напоминать Екатерине II, своей могущественной земной музе, и всем властителям на земле, орудием Кого они являются.

В знаменитой «Фелице» внушение сделано с помощью изящного поэтического приема: уже свершенным преподносится то, что есть только пожелание:

*Фелицы слава – слава Бога,  
Который брани усмирил;  
Который сира и убога  
Покрыл, одел и накормил...*

и т. д.

Абсолютно другого порядка – переложение 81-го псалма, самим автором переименованное в «Властителям и судиям». Тут перед нами опять новый Державин. И четырехстопный ямб, самый пластичный размер, звучит у него по-новому.

Упорство, с которым он стремился напечатать эту крамольную оду, говорит о многом. О том, что, обласканный Екатериной, поэт не поддался на приручение. Что любительская литературная деятельность царицы, шаловливо преломленная им в «Фелице», ни в коем разе не заслоняла для него Книгу всех книг, хоть и позволил он себе среди других

---

<sup>1</sup> Разумеется, поэт – не противник самодержавия. «Оставьте трон» – имеется в виду: оставьте временно, чтобы послушать глас Божественной мудрости:



острых шуток подтрунить и над собой, и над близким ко двору вельможей, любителем лубка: «Полкана и Бову читаю; за Библией, зевая, сплю». И, главное, что кесарю он отдает кесарево, Богу – Богово...

В Псалтири находим:

«Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицепрятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы – боги и сыны Всевышнего – все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю; ибо Ты наследуешь все народы».

Что же у Державина?

*Восстал всевышний Бог, да судит  
Земных богов во сонме их;  
Доколе, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?  
Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.  
Ваш долг: спасать от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков.  
Не внемлют! видят – и не знают!  
Покрыты мздою очеса:  
Злодействы землю потрясают,  
Неправда зыблет небеса.  
Цари! Я мнил, вы боги властны,  
Никто над вами не судья,  
Но вы, как я подобно, страстны,  
И так же смертны, как и я.  
И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет!  
Воскресни, Боже! Боже правых!  
И их молению внемли:  
Приди, суди, карай лукавых  
И будь един царем земли!*

Двести с лишним лет миновало с момента окончания этой оды, которую автор не раз переделывал, усиливал. А энергия, породившая стихи, никуда не утекла. Не потому ли, что Псалтирь – вечный аккумуля-

лятор, единственный возможный в этой области перпетуум мобиле? И подключение к нему сообщает поэзии драгоценнейшее свойство – не-тленность.

Никогда нельзя с уверенностью сказать, что способствует полной, несомненной удаче поэта, велик ли он, как Державин, или получил куда более скромное дарование. Но высказать некоторые предположения можно. Мне кажется, 81-й псалом остановил внимание Гаврилы Романовича и запросился в перевод еще и потому, что имел непосредственное отношение к его жизни, со всеми ее мытарствами, от первых до зрелых лет. «Сироты и вдовы» – это он с братом, это бедная мать их... «Неправедные и злые» – сонм противников, штатских и военных, придворных и губернских, ставивших ему палки в колеса. «Сохранять законы» – задушевная державинская идея, его раздражающая любое окружение неотступная мечта, его (не может быть, чтобы не сознавал этого) розовая иллюзия, ибо, как сказано в прологе к поставленному однажды в державинском доме, в бытность его Тамбовским губернатором спектаклю:

*Где грубы головы, сердца не смягчены,  
Законы кроткие там тщетно изданы.*

Он и с Пугачевым боролся истово, не зная сомнений, потому что бунтовщик, законоотступник, умышлял на драгоценную жизнь императрицы. А раз преступил закон – значит, изменник и злодей. Вероятно, в неколебимости своей был прав, хотя, памятуя Пушкина, нельзя не признать его не классовую, не временем обусловленную (оба – дворяне, время еще не преломилось глобально), а чисто человеческую ограниченность.

Быльем поросла история печатания-непечатания оды «Власти-телям и судиям». Первый вариант опубликовали было еще в 1780 году, но в холуйском испуге выдрали из журнала, заменили какой-то прозой. Шесть лет спустя стихи все же увидели свет. Но грянула Французская революция, прошел даже слух, что восставшие сделали себе из 81-го псалма что-то вроде идеологического обеспечения, и из книги уже прославленного поэта стихотворение «о царях» велено было убрать.

Если я заговорила об этом, то не для того, чтобы напомнить: в России цензура не дремала никогда! Это и без меня известно.

Но хотелось бы привести один диалог...

– Что ты, братец, пишешь за яковинские стихи? – спросил на обеде у некоего графа приятель Державина.

– Какие?

– Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен.

– Царь Давид, – сказал Державин, – не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными...

В этом подлинном эпизоде, где только знаки препинания мои, проявляется достойнейшее поведение поэта. Якобинцев он терпеть не мог. С поверхностной точки зрения, был скорее ретроградом (что это далеко не так – постараюсь показать ниже). Но защищал Богово от кесарева, а свое выношенное детище – от невежественного политиканства.

Не было у нас другого поэта, так высоко понимавшего свою гражданскую миссию. Некрасовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», думаю, осталось бы Державину совершенно непонятно. Он потому и гражданин, что поэт, что как поэт слышит глас неземной Премудрости и старается передать его смертным. Смертны же и цари, и даже любимая им с незапамятных времен, с той самой минуты, когда в день дворцового переворота, облаченная в мундир Преображенского (его!) полка, подняв шпагу над головой, проскакала мимо, Екатерина.

Великую к «великости» Державин звал не только одами в ее честь, но и притязаниями своими, отнюдь не личного характера, когда удостоился звания ее кабинет-секретаря. Заваливал кипами скучных бумаг, требовал вникания, соучастия, справедливого решения. Однажды, полный секретарского пыла, схватил самодержицу за край мантильи, так что она, шутя, правда, кликнула кого-то на помощь.

Лыстцом себя не считал и, пожалуй, разгневался бы на младшего собрата, назвавшего его так два без малого века спустя.

Все стихи Фелице – это исполнение читалагайского обета. В одном из них («Изображение Фелицы») дан высший Идеал, к которому должен стремиться помазанный или помазанная на царство.

*О Ты, Всесильный и Предвечный,  
Который волею Своей  
Колеса движешь быстротечны  
Вращающейся природы всей!  
Когда Ты есть душа едина  
Движенью сих огромных тел,  
То Ты ж, конечно, и причина  
И нравственных народных дел;  
Тобой царства возрастают,  
Твое орудие – цари;  
Тобой они и померцают,  
Как блеск вечерняя зари.*

Недаром Карамзин определил стихи как «молитву Екатерины Великой». Она же призналась, что поэт «уяснил ей самой идеал, ко-

торый она стремилась осуществить собою». Имя этому идеалу – «нравственные народные дела».

И медно-кимвальная интонация приведенного выше отрывка, и чисто державинские словеса, и еще нечто неуловимое, аура, что ли, присущая самым высоким созданиям поэта, возвращают нас к оде «Бог», написанной в 1780-84 годах. Напомню ее начало:

*О Ты, пространством бесконечный,  
Живый в движеньи вещества,  
Теченьем времени превечный,  
Без лиц, в трех лицах божества!  
Дух всюду суций и единый,  
Кому нет места и причины,  
Кого никто постичь не мог,  
Кто все собою наполняет,  
Объемлет, зиждет, сохраняет,  
Кого мы называем – Бог!*

Стихи эти печатались всегда. Слишком прославлены, чтобы их можно было замолчать. Но комментарий зависел от злобы дня.

Видели в оде стихийно материалистическое изображение круговорота вещества. Называли Державина бунтарем, будто бы провозгласившим, что человек величием своим равен Богу. Раздавались голоса, что державинский Бог – вовсе не христианский, любви и милосердия, а скорее уж ветхозаветный, могущественный зиждитель, Бог небес, Бог сил, на чью любовь к своему созданию автор только намекает.

О «материализме», пусть и стихийном, как легко догадаться, наш герой даже не подозревал. Но некоторые основания для вольных домыслов поверхностным исследователям он, действительно, подкинул, сказав, например, о четвертой строке, что «кроме богословского православного нашей веры понятия («Троицы» – Т. Ж.) разумел тут три лица метафизические, то есть: бесконечное пространство, непрерывную жизнь в движении вещества и нескончаемое течение времени».

Кто ищет во всем буквы, а не сути, может только пожать плечами: ода крепка, величественна, от алмазного блеска высоких образов, от красоты музыки захватывает дух... Однако, где же тут, спрашивал еще Белинский, та любовь, «которая воззвала к человекам: «приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные – и Аз упокою вы!» (Мф. 11, 28)

Давайте вчитаемся и сопоставим:

*Хаоса бытность довременну  
Из бездн Ты вечности воззвал,*

*А вечность, прежде век рожденну,  
В себе самом Ты основал:  
Себя собою составляя,  
Собою из себя сияя,  
Ты свет, откуда свет истек.  
Создавший все единым словом,  
В твореньи простираясь новым,  
Ты был, Ты есть, Ты будешь век!*

Верующим церковным людям хорошо известен Символ веры. Он исполняется в христианских храмах всеми предстоящими каждую утреню и звучит уже более 1600 лет! Вот его начало:

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного, иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна...»

Значит, вечность, по Державину, это... Иисус Христос и, не ставя себе задачи охватить всю безмерность понятия Бог, он говорит здесь о Боге-отце и о Боге-Сыне, их непостижимой для нас вневременной слиянности, языком свежим и древним, своим и церковным – языком глубоко религиозного поэта...

Напомню еще, что строка «Создавший все единым словом» медленно приводит на ум первый стих евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1).

И все-таки лучшая и самая известная ода Державина выламывается из любых канонов. Она не повторяет – она просекает свои, подчас дерзновенные пути, а те приводят к новым неожиданным открытиям.

Читаем пятую строфу:

*Светил возженных миллионы  
В неизмеримости текут,  
Твои они творят законы,  
Лучи животворящи льют.  
Но огненны сии лампы,  
Иль рдяных кристалей громады,  
Иль волн златых кипящий сонм,  
Или горящие эфиры,  
Иль вкупе все светящи миры –  
Перед Тобой – как ночь пред днем.*

Несколько лет назад в журнале «Дружба народов» было опубликовано фантастическое сочинение Клайва С. Льюиса «За пределы безмолвной планеты». Герой этой философской притчи не по своей

воле летит в космос на корабле. Вот его впечатления: «... в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия, небесные сапфиры, рубины, изумруды и зерна расплавленного золота (...) Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры (...) Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло (...) Оно породило все бесчисленные пылающие миры, что глядят по ночам на землю...»

Тут есть удивительные совпадения с одой Державина.

*«зерна расплавленного золота» –  
«волн золотых кипящий сонм»;  
«небесные рубины» –  
«рдяных кристалей громады»;  
«пылающие миры» –  
«горящие эфиры».*

И главное:

*«как можно было говорить о безжизненности» –  
«лучи животворящи льют»...*

Ощущение такое, что оба, современный английский философ и русский поэт XVIII века, видят одну и ту же объективно существующую картину и передают ее – каждый своими средствами.

Далее у К. С. Льюиса: «Теперь он понял (...), что планеты, или «земли» (...) – это просто провалы, разрывы в живой ткани небес. Эти мусорные кучи (...) отторгнуты от мирового сияния. Они – продукт не приумножения, а умаления небесной славы (т.е. Создателя! – Т. Ж.), возможно, видимый свет – это тоже провал, разрыв, умаление чего-то иного...»

У Державина: «все светящи миры – перед Тобой – как ночь пред днем».

В «объяснениях» к стихам, которые престарелый Державин диктовал племяннице своей второй жены (ни собственных детей, ни родных племянников у него не было), рассказано, как писалась ода «Бог»:

«Не dokonчив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом, видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле, воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегают свет, и с ним вместе полились потоки слез из глаз у него...»

Может быть, слово «свет» – это ключ к стихотворению, равному которому нет в нашей поэзии?

Что еще поражает нас, маловеров, в оде «Бог»? Выстраданная в сомнениях, глубоко интимных, мысль о неразрывности Творца и твари, т.е. человека:

*Я есмь – конечно, есть и Ты!  
Ты есть! – природы чин вещает,  
Гласит мое мне сердце то,  
Меня мой разум уверяет,  
Ты есть – и я уж не ничто!*

Выше я замедлила на биографии Державина, как можно чаще давая слово ему самому, а не позднейшим интерпретаторам, потому что мне хотелось понять, каким душевным опытом должен был обладать поэт, написавший оду «Бог» и особенно то ее место, где берутся крайние точки человеческого самочувствия и самостояния в мире:

*Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь – я раб – я червь – я Бог!*

Помните вздох-воплъ Третьяковского:

*Боже! кто я, нища тварь?  
...Как? О! как могу быть царь?*

Оказывается, и это возможно... «Царь», «раб», «червь» – все это, конечно, духовные понятия. Соблазнительнее всего («соблазн» в смысле искушения): «я Бог!» Тот, кто утверждал, что человек в державинской оде «величием своим равен Богу», как раз и соблазнился. Неужели речь идет о человекобожии, о чреватой страшными бедами подстановке человека, с его всегда спорными мерилami добра и зла, света и тьмы, вместо Высшего начала? Рискну утверждать, что нет. Имеется в виду другое... В каждом из нас есть «ветхий Адам» (Адам в переводе с библейского иврита – человек). Христа именуют иногда «новым Адамом». «Я Бог!» у Державина означает, по-моему, я – новый человек, я могу быть не только грешным, падшим, – одним словом, ветхим созданием, но и, угадав высший замысел о себе, стать вровень с ним, приблизиться к Божеству. Тогда и немощь плоти уступит место бессмертному бытию:

*Твоей то правде нужно было,  
Чтоб смертну бездну проходило  
Мое бессмертно бытие;  
Чтоб дух мой в смертность облачился*

*И чтоб чрез смерть я возвратился,  
Отец! – в бессмертие Твое.*

Тут Державин, на свой лад, конечно, интерпретирует сказанное в Откровении святого Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (21, 4).

«Отец!» в последней строке – восклицание христианина.

«Авва» – папа – этим детским словом называл Господа Христос. Интонационно выделенное, как бы выросшее между двух пауз, обращение русского поэта звучит так же доверчиво, задушевно и очень просто, без выпренности.

Прежде чем расстаться с одой «Бог», хочу обратить ваше внимание на ее заключительные строки:

*Но если славословить должно,  
То слабым смертным невозможно  
Тебя ничем иным почитать,  
Как им к Тебе лишь возвышаться,  
В безмерной разности теряться  
И благодарны слезы лить.*

Богословы говорят о несоизмеримости Творца и твари. Гаврила Романович, с его народным общедоступным языком, говорит о «безмерной разности» между ними. Смысл от этого не меняется, и не понять его может лишь тот, кто почему-либо понимать не желает.

Когда «померцала» Екатерина Великая, ее сменил сначала Павел, потом Александр I. История сохранила отзыв-пророчество Державина о нелюбимом сыне Екатерины. Раздраженный резкостью императора по отношению к себе, «Ждите, будет от этого царя толк» – в беспамяты довольно громко сказал в зале стоящим. Потом каялся, да уж птичка вылетела...

И от Александра, царя-либерала, шло «внутреннее неблагоприятное» к Державину. Гвоздь недовольства нового «властителя и судии» хорошо выражает реплика, воспроизведенная в «Записках»: «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь, и так хочу». Нашла коса на камень! Пик расхождения – вопрос об отмене крепостного права. Державин был против. На наш прогрессистский взгляд, проявил себя замшелым консерваторм. Но послушаем самого поэта. «Царств метафизикой не строя» (строка из оды «На умеренность»), он настаивал на том, что «в нынешнем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага государственного, а напротив того вред (...) чернь обратит свободу в своевольство и наделает много бед».

Император-прогрессист не стал церемониться с инакомыслящим.



На лицемерное Александрово «Оставайся в Совете и Сенате» поэт отвечал искренно: «Мне нечего там делать». И, не уронив чести, удалился на покой, благо имел в числе прочих новгородское имение Званка.

Здесь он все меньше думает о кесаревом, все больше – о Божием. Находится и достойный собеседник: епископ и викарий Евгений Болховитинов, не мракобес какой-нибудь, как привыкли мы думать с атеистической подачи о нашем отечественном духовенстве. Культурнейший человек, составитель словаря русских писателей. Уйдя в Хутынский монастырь, продолжал там свои литературные занятия.

Стихотворение «Евгению. Жизнь Званская» посвящено именно ему. Кроме хрестоматийных «багряной ветчины», «зеленых щей с желтком» стихи содержат и много других строк. Ветхозаветный Екклесиаст посещает в Званке полудобровольного изгнанника:

*Все суета сует! я, вздыхая, мню,  
Но, бросив взор на блеск светила полудневна,  
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремени?  
Творцом содержится вселенна.*

Переосмыляется молитва, данная Христом апостолам: «Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси, и на земли...» (Мф. 6, 9-10):

*Да будет на земли и в небесах Его  
Единого во всем вседействующа воля!  
Он видит глубину всю сердца моего,  
И строится моя им доля.*

«Перуны» Александрова века – война 1805-1807 года – пока шумят далеко, но, старый вояка, хозяин «храмовидного дома» (с куполом и колоннами) уже насторожился, чуя угрозу «спокойствию» человека:

*Умолкнут ли они? – Сие лишь знает Тот,  
Который к одному концу все правит сферы;  
Он перстом их своим, как строй какой ведет,  
Ко благу общему склоняя меры.  
Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт  
И поглумляется безумству человеков...*

Здесь, в Званке, написано и «Бессмертные души» – стихи на вечную волнующую человеческий род тему. Угасает ли со смертью наше сознание? Остается ли в любой форме зерно нашей личности или

все пожирает ненасытная утроба могилы? Тридцатишестилетний Державин в оде «На смерть князя Мещерского» уже нарисовал жуткий образ смерти, которая «как молнией, косою блещет и дни мои, как знак, сечет». Уже тогда он сокрушался, осознавая, какая непроходимая пропасть разделяет тот и этот свет. Может ли утешить мысль об отлетевшем в пределы иного духе близкого человека, если с ним невозможно никакое сообщение, если даже местопребывание его непостижимо:

*Сын роскоши, прохлад и нег,  
Куда, Мещерской! ты сокрылся?  
Оставил ты сей жизни брег,  
К брегам ты мертвых удалился;  
Здесь персть твоя, а духа нет.  
Где ж он? – Он там. – Где там? –  
Не знаем.  
Мы только плачем и зываем:  
«О, горе нам, рожденным в свет!»*

Любопытно, что полтора века спустя Марина Цветаева так же билась головой об стену (ритм передает эти удары), вопрошая пространство: «Где ты? Где сам? Где тот? Где весь? / Там – слишком там. Здесь – слишком здесь».

Державин в свою закатную пору уже не щекочет нам нервы ни видением смерти, ни воздыханиями о безвременно ушедшем приятеле. Он вступает в диалог с «небесной истиной», запросто залучая ее для беседы, как некогда «Дщерь мудрости», задает ей вопросы в лоб:

*Вещай: я буду ли жить вечно?  
Бессмертна ли душа моя?*

И слышит достаточно прямолинейный ответ:

*Как можно, чтобы Царь всемирный,  
Господь стихий и вещества,  
Сей дух, сей ум, сей огонь эфирный,  
Сей истый образ Божества,  
Являлся с славою такою,  
Чтоб только миг в сем свете жить,  
Потом покрылся б вечной тьмою?  
Нет, нет! сего не может быть.*

Как ни успокоителен конечный вывод оды:

*О радость! О восторг любезный!  
Сияй, надежда, луч лия,*

*Да на краю воскликну бездны:  
Жив Бог – жива душа моя! –*

невольно говоришь себе, что поэт – уже не тот, что богатство, прихотливость, непредсказуемость поэтических одежд утрачена – то ли с возрастом, то ли с переходом к мирному житью, расхолаживающему прирожденного строптивца и скитальца. Сквозь наработанные мастером строки просвечивает жалаемая мысль. Автор словно подгоняет стихи под заранее известный ответ.

Не хочется заканчивать беседу таким Державиным. Ведь он рифмовал свою фамилию с Навином, а, по Библии, Иисус Навин, чтобы обеспечить своим соплеменникам победу над врагом, остановил луну и солнце. И нашего героя влекли космические масштабы. В огромной поэме «Целение Саула» (Саул – персонаж Ветхого Завета, чью душевную немощ исцелил музыкальной игрой легендарный создатель Псалтири царь Давид), Державин ни больше ни меньше как описывает сотворение Неба и Земли, существенно дополняя первую книгу Библии Бытие. И вот с какой мощью словесной и дерзостью ритмической:

*На пустых высотах, на зыбях Божий дух  
Искони до веков в тихой тьме возносился,  
Как орел над яйцом, над зародышем вокруг  
Тварей всех теплотой, так крылами  
гнездилися.  
Огонь, земля и вода, и весь воздух в борьбе  
Меж собой, внутрь и вне, беспрестанно  
сражались,  
И лишь жизнь тем они всем являли в себе,  
Что там стук, а там треск, а там блеск  
прорывались;  
Гром на гром в вышине,  
гул на гул в глубине,  
Как катясь, как вращаясь, даль и близь  
оглушали;  
Бездны бездн, хляби хлябь  
колебав в тишине,  
Без устройств естество, ужас, мрак  
представляли.*

Косноязычно? Замусорено? Не сразу пробьешься к смыслу? Но это особое косноязычие – от переизбытка, а не от бедности выразительных средств. Это мусор строительной площадки, на коей возводится колоссальное строение – плод бессонницы великого Зодчего.

Это, наконец, темноватый тоннель, в конце которого – свет, переходящий в блеск.

Есть у Державина стихи и о «последнем дне природы», снова возвращающие нас к Апокалипсису. Так часто поминаемое ныне, растасканное по газетным статьям, Откровение Иоанна, действительно, дает картины конца мира, светопреставления: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (16, 18). Вообще гиперболизм Державина, который отмечают единодушно все исследователи, не внушен ли ему Библией, псалмами? Во времена, что кажутся нам тишайшими, потому что мы оглохли от шума своих, поэт макает перо не иначе, как в «бездны бездн», упомянутые выше:

*Представь последний день природы,  
Что пролилася звезд река;  
На огонь пошли стеною воды,  
Бугры взвились за облака;  
Что вихри тучи к тучам гнали,  
Что мрак лишь молнии освещали,  
Что гром потряс всемирну ось...*

И неважно, что стихи эти взяты из оды «На взятие Измаила». Каков полет! Какого титанического пера!..

В книге «Духовные оды» (Москва. Ключ. 1993) впервые, после длительного промежутка, опубликована ода Державина «Христос» (1814 г.)

Христос – это и есть воплощенная Премудрость Божия. Прав составитель книги Б. Н. Романов, когда пишет, что вопрос-рефрен «Кто Ты?», обращенный одописцем к Иисусу Христу, «как бы не требует ответа, поскольку ответ единственно в Евангелиях, на которые поэт чуть ли не через каждую строчку ссылается».

Но при чрезмерности ссылок, щедром использовании церковно-славянской лексики, при особенно затрудненном порою синтаксисе, поэт прорывается в этой оде к таким лучезарным лирическим высотам, вдруг переходит на такой естественно-взволнованный слог человека – нет, не начала 19-го, а прямо-таки конца 20-го века, что диву даешься:

*...Но кто же сущий Ты,  
Что человеком чтим и Богом?  
Лице, как солнца красоты!  
Хитон, как снег во блеске многом!  
Кто Ты, – которого звезда*

*Час возвестила в мир яленья,  
Казала путь к кому веда  
Царям, волхам для поклоненья...  
... Как! – Неба сын Ты? – ужас, мрак  
Мои все пробегают кости!  
Ты Бог? – но Твой поруган зрак  
От человеческая злости!  
... Кто Ты? – и как изобразить  
Твое величье и ничтожность,  
Нетленья с тленьем согласить,  
Слить с невозможностью возможность?..*

Думаю, вот такие рвущиеся из души строки непреходящего чекана и закала заставили Адама Мицкевича назвать стихи оды «Христос» удивительными «по простоте и чистосердечности».

За несколько дней до смерти, уже непослушной рукой, Державин написал на аспидной дощечке восемь строк:

*Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.*

Бытует мнение, что это – отрывок, что за ним должны были следовать другие строфы. Но, когда речь идет о поэте такого значения, не веришь в случайности. Видимо, смерть знала, на какой строке остановить никогда не знавшую устали сановную чернорабочую руку Гаврилы Романовича. Что ж! Мы вольны выбирать между безнадежностью последнего восьмистишия и пламенной верой, излившейся в оде «Бог»: «Чтоб дух мой в смертность облажился и чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! – в бессмертие Твое». Ибо человек задуман и создан как существо свободное.

## БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

### «Не говори с тоской: их нет...»

(В. Жуковский)

Если бы младенец мужеского полу, рожденный 29 января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии, получил фамилию и отчество своего кровного отца, русская литература знала бы Василия Афанасьевича Бунина, который почти на 100 лет старше другого знаменитого Бунина – Ивана Алексеевича. Но мальчик родился не от законной жены помещика Бунина – от молодой турчанки Сальхи. Шестнадцатилетнюю вдову – ее муж был убит под Бендерами – привез в барский дом из похода против турок крепостной Буниных. Сальха, по своим мусульманским понятиям, была младшей женой барина, уважала старшую жену и слушалась ее. Восхищения заслуживает поведение именно законной супруги. Она стала доброй матерью Васе, защищала и опекала Сальху. Зоркий современник нашел, что полувосточное происхождение Жуковского сказывалось во всем его облике... У нас теперь появились блюстители чистоты крови. Не знаю, право, каким клиническим анализом можно ее удостоверить. Новые ортодоксы забывают, что как на зло у многих выдающихся русских поэтов кровь смешанная.

Пожалуй, нет другого крупного русского поэта, расхожее мнение о котором было бы так предвзято, упрощено, несправедливо занижено, как о Василии Андреевиче. В неблагородстве Жуковского никто еще, кажется, не заподозрил. Потому что благородство било из него, как фонтан. Невозможно не заметить фонтана, если у вас есть глаза. Но что до остального...

Четверть века назад один литературовед печатно упрекнул крупнейшего знатока биографии и творчества поэта А. Н. Веселовского за то, что он считал Василия Андреевича более наивным, чем тот был на самом деле. И тут же сам назвал его наивным... за веру в бессмертие души<sup>2</sup>. Ну, тогда наивными надо объявить всех учителей церкви, и апостолов, и самого Христа! Непонятно только, почему их Евангелие

---

<sup>2</sup> И. Семенко. «Жизнь и поэзия Жуковского». Вступительная статья к «Избранному». 1973 г., стр. 7

(в переводе с греческого «Благая весть») держится 2 тысяч лет, в то время как износились, отмерли, запятнали себя куда более здравые учения, теории и системы. Мало того, нас, прожженных практиков и позитивистов, эта «наивная», «детская» вера притягивает все больше и больше, Да полно, наивна ли она? Или наивны наши попытки свести ее и все, что из нее проистекает, к наивности?

Многолетняя связь Жуковского с царской семьей (он учил сначала мать великого князя Николая Павловича, потом его жену, потом наследника) еще десять лет назад в лучшем случае не осуждалась. Как так? Русские поэты всегда были тираноборцами, а тут... Прощали, потому что знали как ходатай перед государем по чужим сложным, а то и безнадежным делам. Добивался и добился облегчения участи декабристов, политических страстей которых не разделял. Вызволил из ссылки Герцена, из солдатчины – Боратынского, помог освободиться из крепостной неволи Тарасу Шевченко. Перечень можно длить и длить.

Ставили ему в вину Пушкина. Исправил строки в «Памятнике» и «Медном всаднике». А что с первого взгляда разглядел в молодом повесе гордость нашу, спасал от царева гнева, до конца поддерживал, оставил нетленными воспоминания в прозе и стихах о последних часах его и сказал высоко о высокой смерти, что чрезвычайно оперативно выпустил посмертное собрание сочинений, – забывалось.

Отлилась некая восковая фигура: округлый, апоплексического сложения, с женственными чертами лица... Молодой портрет мало кто помнит. Под стать форме и содержимое: мягкость, доходящая до расплывчатости, примиренчество, покорность судьбе. Да вот еще: прекраснодушие. Если бы это означало только то, что поэт имел прекрасную душу, – я обеими руками «за». Но давно уже такое определение отдает полуманиловщиной, полуобломовщиной. Ничего маниловского, равно как и обломовского, в Жуковском не было! Был он человеком необыкновенно организованным. Все начатое – стихи, дела, отношения с людьми – старался довести до совершенного результата. Порывы прекрасной своей души неизменно воплощал в поступки, не щадя себя, не трусая, не отступая. Его письма Николаю I и Бенкендорфу с требованием справедливости (не по отношению к себе, – чего не было, того не было, – только к другим) выявляют натуру граждански мужественную, характер с крепким стержнем, бесстрашие, готовность идти на риск... «Христосиком» никогда не был – был христианином. А так как мир, где мы живем, в канун третьего тысячелетия от Рождества Христова христианизирован в основном внешне, а внутренне очень слабо, то и жизнь свою Василий Андреевич прожил, как всякий настоящий христианин, не благодаря, а вопреки темной стихии, разлитой вокруг. И в памяти потомков пусть останется пловцом, не убоявшимся смертельно высоких, девярых валов своей судьбы. Но послушаем самого поэта:

*С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах  
 между нами  
 Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди!  
 Если, ее повстречав, не потушишь очей  
 и спокойным  
 Оком ей взглянешь в лицо – сам просветлеешь  
 лицом;  
 Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты –  
 наступит  
 Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи!*

Стихотворение «Судьба» выдержано в стиле греческой антологической поэзии. Жуковский написал его, когда ему было 54 года. Оно – итоговое, после него лирика почти не писалась... Известные нам события жизни поэта, как в прокрустово ложе, укладываются в судьбу со «светлой головой» и «тяжкими свинцовыми ногами».

Из Благородного пансиона при Московском университете, куда его помещает вдова Бунина, Василий выходит с несколькими напечатанными стихами, друзьями-приятелями на всю жизнь да книгой Руссо в руках. Какая удача, что в раннем младенчестве его усыновил отцовский приживал дворянин Жуковский! У него не будет тех испытаний, какие подстерегали, много позже, конечно, незаконнорожденного Фета-Шеншина. Его ждут испытания иные...

Три основных перевала вижу я в жизни поэта. Вал... перевал... как ни называй, всякий вырастает навстречу движению по воде ли, по суше. Всякий требует сил для преодоления и не разовой смелости, а мужества, растянутого на долгие годы.

Удача улыбается молодому Жуковскому. В Белеве строится двухэтажный деревянный дом (кстати, по его проекту), куда можно перевезти родную мать, пригласить друга-поэта Батюшкова. В лучшем столичном журнале «Вестник Европы» печатается его вольный перевод «Сельского кладбища» англичанина Грея и стихи имеют успех. Уже в этом истинном дебюте (первые публикации не в счет!) угадывается непокорство Жуковского силам, которые мешают человеку стать самим собой. Вместе с Томасом Греем он размышляет на сельском кладбище о несбывшихся судьбах тех, кто, подобно всем нам, был вызван из ничтожества. Но зачем, для какой цели, раз они почили вечным сном раньше, чем угадали свое назначение, чем свершили что-то значительное? И это – в век расцвета интеллекта:

*Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,  
 Угрюмою судьбой для них был затворен,  
 Их рок обременил убожества цепями,  
 Их гений строгою нуждою умерщвлен.*



*... Отечество хранить державною рукою,  
Сражаться с бурей бед, фортуны презирать,  
Дары обилия на смертных лить рекою,  
В слезах признательных дела свои читать –  
Того им не дал рок...*

«Да тут изложена программа-максимум! – удивленно пожемем мы плечами. – В стихах же, судя по всему, речь идет об обыкновенных смертных». Да, поэты шьют человеку костюм на вырост, или, другими словами, предполагают такой Замысел о человеке, что почти всегда краше, чем осуществление. Это относится не только к гревским усопшим – это относится и к нам, живым...

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что вера нивелирует человеческую личность. Личность – это осуществленная во всей полноте душа, а душа для Жуковского – ключевое понятие мироздания. «Мир существует только для души человеческой, – писал он. – Бог и душа – вот два существа; все прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту».

Но фраза эта – гость из будущего. Поэт только приближается к своему первому валу-перевалу... Итак, он входит в известность. Его любит, им гордится, даже восхищается многочисленная бунинская родня, в основном женского пола.

И вдруг удар. Оттуда, откуда меньше всего его ждешь: единокровная, но не единоутробная сестра Екатерина Афанасьевна, по мужу Протасова, бесповоротно отказывает Василию Андреевичу, когда он просит руки ее дочери, горячо любимой Машеньки. Почему? – Родственный брак. Церковь запрещает. – Но ведь по документам он им не родня, он не Бунин – Жуковский... Можно представить себе, как возмущенно вспикела в ее жилах голубая кровь, каким ледяным взглядом погасила она притязания полубратца!.. Машу не позволено видеть, говорить с ней, посвящать ей стихи.

На празднике у соседей, последнем мирном празднике перед наступлением Наполеона, среди благожелательно настроенных гостей Жуковский спел романс на свои стихи: как раз о борьбе пловца с «ревущими валами» и «грозящими скалами»:

*Мощный вел меня хранитель.  
Вдруг – все тихо! мрак исчез;  
Вижу райскую обитель...  
В ней трех ангелов небес.*

.....  
*О! Кто прелесть их опишет?  
Кто их силу над душой?  
Все окрест их небом дышит  
И невинностью святой.*

Услышав кульминационный заключительный аккорд, музыкальный и словесный:

*О судьба! Одно желанье:  
Дай все блага им вкусить;  
Пусть им радость – мне страданье;  
Но... не дай их пережить, –*

гости устроили овацию, а старший неумолимый «ангел» – сестра выразила нежелание впредь принимать его в своем таком раньше гостеприимном доме. Он уехал, записался в московское ополчение.

Не созданный для воинской службы, нес ее тяготы наравне со всеми. Участвовал в Бородинском сражении, в резерве. Зато поэма «Певец во стане русских воинов» вывела его в авангард. Поэзии. Духовной жизни общества. И теперь уже навсегда...

Прочитую лишь ту часть этой хорошо известной вещи, подробного разбора которой мне читать не приходилось:

*О братья, взоры к небесам!  
Там жизни сей награда!  
Оттоль Отец незримый нам  
Гласит: мужайтесь, чада!  
Бессмертье... тихий, светлый брег;  
Наш путь – к нему стремленье.  
Покойся, кто свой кончил бег!  
Вы, странники, терпенье!  
Блажен, кого постигнул бой!  
Пусть долго, с жизнью хилой,  
Старик трепещущей ногой  
Влачится над могилой;  
Сын брани мигом ношу в прах  
С могучих плеч свергает  
И, бодр, на молнийных крылах  
В мир лучший улетает...*

Как ни относиться к тому, что в энергических стихах утверждает автор, нельзя не признать: в его призыве куда больше убедительности, красоты и человечности, чем, скажем, в популярной песне времен Второй отечественной войны:

*А козь придется в землю лечь,  
Так это ж только раз!*

«Бессмертье... тихий, светлый брег...» – вариации на эту тему повторялись Жуковским не раз. Упорство повторения свидетельствует

и о вере, и о тревоге, заставляющей эту веру испытывать и укреплять. Перевод стихотворения Шиллера по-русски называется «Голос с того света»:

*Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел из мира перешла...  
О друг, я все земное совершила;  
Я на земле любила и жила.*

.....  
*Друг, на земле великое не тщетно;  
Будь тверд, а здесь тебе не изменят;  
О милый, здесь не будет безответно  
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.  
Не унывай: минувшее с тобою;  
Незрима я, но в мире мы одним;  
Будь верен мне прекрасною душою;  
Сверши один начатое вдвоем.*

Знал ли поэт, что, выбрав для перевода шиллеровское творение в таком роде, заменив по неясной нам причине бывшее в оригинале обращение к матери обращением к возлюбленному, он на несколько лет упреждает трагические события своей судьбы, проливает поэтический елей на собственную рану, еще не нанесенную роком?

Часто спрашивают, почему христиане так уверены в бессмертии души и настолько самоуверенны, что рисуют формы этого бессмертия? Ведь сам Христос, говоря о жизни вечной, хранит целомудренное молчание о том, что же это такое.

Тайну бессмертия в христианском понимании приоткрывает апостол Павел, который, в свою очередь, цитирует ветхозаветных пророков:

«... не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою»<sup>3</sup>. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»<sup>4</sup> (1 Коринфянам, 15, 51–55).

Кого интересует православная точка зрения на эту столь животрепещущую тему, тот пусть прочтет книгу епископа Игнатия Брянчанинова «Душа после смерти» – вышла недавно. Автор – фигура бесспорная, причислен к лику святых.

<sup>3</sup> «Поглощена будет смерть навеки» (Исайя, 25, 8)

<sup>4</sup> Осия, 13, 14.

Мы же продолжаем путешествие по поэтической вотчине Жуковского. Поэт потому и поэт, что все сущее называет своими именами, на свой страх и риск переводит с Небесного на земное. Не уличая его в некоторых несовпадениях с великим подлинником, будем благодарны за искреннюю интерпретацию.

Закончу повесть о любовной пытке поэта. Это ему принадлежат слова, давно утратившие авторство: «Я знал в любви одну лишь муку». Какую усталость и грешное для христианина уныние передает четырежды повторенный звук ю-у-у-у! Но стихи так хороши, так естественно и горестно слово цепляется за слово, что молодой Пушкин с восторгом переписал их себе и мы тоже откуда-то их знаем.

Василий Жуковский и Маша Протасова никогда не будут вместе. Ее родная сестра, Саша, третий «ангел» и адресат баллады «Светлана», выйдет замуж за литератора Воейкова, вместе с матерью и сестрой переедет в Дерпт (нынешний Тарту), где их не раз и не два навестит неизлечимо влюбленный Жуковский. С его согласия, данного через силу, Маша выйдет замуж за положительного немца-профессора и скоро умрет родами. Саша намучается с мужем-истериком и тоже умрет молодая, от чахотки...

Они были ему не только племянницами. Четыре года он назывался их домашним учителем. Себя не жалел, переливая в их умные головки впитанное всем его существом блестящее знание истории, философии, изящной словесности, теологии. Он заразил их своим интересом к чужеземным языкам. Учил их добру, учил быть счастливыми. И не его вина, что жизнь разметала их мечты, что многие чудесные намерения свершениями так и не стали. А может быть, и его?!

Обеим Жуковский поставит одинаковые памятники. Маше – в Дерпте, Саше – в Ливорно, где она безуспешно лечилась. Под чугунным крестом с распятием будут выбиты на бронзе уже знакомые нам слова. Именно эти: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененнии.» (Мф. 11, 28). И другие, из четвертого Евангелия: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте; иду приготовить место вам, чтобы и вы были там, где Я буду» (Ин. 14, 1–3).

*О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: их нет,  
Но с благодарностию: были.*

В своем «Дневнике» поэт дает комментарий к этим стихам: «нет и были, какая разница! В первом – потеря, в последнем – воспоминание. Нет значит исчезли; были значит оставили след свой. Прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освещает для нас и землю и жизнь нашу!»

Но светлое настроение все время норовит ускользнуть от него. После Сашиней смерти он пишет другу: «Я точно теперь в таком положении, как бы сам готовился оставить землю и перейти в другую жизнь... Наш здешний мир переходит на ту сторону... Все отделяется от жизни. Остается одна строгая должность». («Должность» – в смысле «долг» – Т. Ж.)

...70 ступенек вели в кабинет Жуковского в Зимнем дворце. Тяжеловато и для более молодых ног и сердца... Когда в 1826 году царь Николай I предложил поэту заниматься с восьмилетним наследником, он не тотчас принял это предложение. Знал за собой: с полной отдачей умеет делать только одно дело. Педагогический опыт у него уже был; не секрет: время поглощают не только уроки, но и подготовка к ним: книги, выписки, составление схем, таблиц, диаграмм. И обязательная втянутость в придворную жизнь. А стихи? А переводы, которые те же стихи – потоки, зажатые в гранит еще больших ограничений?

Но, монархист по убеждениям, Василий Андреевич считал, что сможет подготовить для России христианского государя. Его увлекала мысль о ваянии царской души. Он пропускал мимо ушей язвительные шуточки князя Вяземского, вроде той, что «ищет души там, где они никогда не водились, – в Аничковом дворце». Как сам поднимается по этим 70 ступеням, будет день за днем, год за годом поднимать все выше своего подопечного. Главный сан на земле – человек, человек – вместилище души, а душа поддается обработке. Значит, за дело!

Для цесаревича он не делал никаких поблажек. Вот расписание дня будущего Александра II:

6 часов утра – подъем;

7–9; 10–12; 1–3; 4–5 – занятия с учителями;

5–6 – чтение;

6–8 вечера – собственные занятия;

8–9 вечера – гимнастика;

9 часов вечера – отход ко сну.

Отношения поэта с Николаем I отнюдь не были идиллическими. Когда, устав от бесконечных просьб поэта за жертв поправленной справедливости, царь спросил, надо думать, не очень вежливым тоном, «А за тебя кто поручится?», оскорбленный Жуковский на некоторое время прекратил занятия с наследником престола.

Он выполнил свой долг. Говоря по-нашему, даже перевыполнил. Незадолго до совершеннолетия своего ученика организовал его путешествие по России с заездом в города, где жили декабристы. И летом 37-го года написал царю прямым текстом: «... даруйте всепрощение несчастным...» Амнистии не последовало, но послабление вышло. Царь откликнулся не столько на просьбу учителя, сколько на под-

сказанное им письмо своего сына... Минуту, когда Жуковский узнал об этом, он назвал одной из лучших в жизни.

Если со стороны императора это был акт принудительного милосердия, то Жуковским руководило исключительно чувство сострадания. Взгляды декабристов оставались ему глубоко чужды. В промыслительную силу политических переворотов он не верил. Желал России поступательного, без взрывов и скачков исторического развития. «Существует для всех одна общая нравственность, – писал он, – основанная на христианстве». Отсюда его отрицательное отношение к Французской революции, которая, по его словам, «хотела всем дать вдруг иную схожую внешность и вздумала намазать ее на лицах на сильно кровавую кистью».

А как злободневны мысли «наивного» обитателя горних сфер об общих для всех времен принципах исторического развития: «Разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодотворною...»

Совершеннолетний воспитанник не оправдал многих его надежд. С царской семьей, от которой получил немало «оплеух» (его слово), он расстался только что без явного конфликта. Однако многолетним страдальцам стало полегче. Не того ли ради все это было затеяно на небесах, а он явился земным проводником...

*Кто слез на хлеб свой не ронял,  
Кто близ одра, как близ могилы,  
В ночи, бессонный, не рыдал, –  
Тот вас не знает, вышни силы!*

Хотя это перевод, а вернее, вольное переложение стихов Гете, их уже не оторвешь от родной поэзии. Действительно, источником веры часто становится страдание, потрясение, смерть близкого человека или любой другой удар из-за угла. Это разделенное не только с Гете – многим знакомое чувство. Порой, правда, оно остается втуне, и знакомство с «вышними» силами ничего не меняет в поведении человека. Проходит беда, мы «выздоровливаем» и забываем данный нам свыше опыт богообщения.

Куда уникальнее и тем интереснее для нас очень сильная у Жуковского, никем, как мне кажется, непревзойденная способность проникать взглядом под внешний покров мира видимого, под корой вещества прозревать его душу. Вслед за апостолом Павлом поэт мог бы сказать о своих мистических переживаниях, что он «слышал неизре-

ченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Коринфянам, 12, 4).

*Я на берегу один... окрестность вся молчит...  
Как привидение, в тумане предо мною  
Семья младых берез недвижимо стоит  
Над усыпленную водю.  
Вхожу с волнением под их священный кров;  
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит;  
Как бы эфирное там веет меж листов,  
Как бы невидимое дышит;  
Как бы сокрытая под юных дров корой,  
С сей очарованной мешаясь тишиною,  
Душа незримая подымлет голос свой  
С моей беседовать душою.*

.....  
*О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед!  
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель  
Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет  
Иль небеса твоя обитель?..  
И ангел от земли в сиянье предо мной  
Взлетает; на лице величие смиренья;  
Взор к небу устремлен; над юною главой  
Горит звезда Преображенья...*

Когда 19 августа Церковь отмечает праздник Преображения Господня, она напоминает людям о явлении на горе Фавор Силы и Славы во всем Его блеске, во всем Его могуществе. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» услышали ученики, которые были там вместе с преобразившимся на их глазах Христом. Об этом событии рассказано не только в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки, но и во Втором Послании Петра: «... мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших...» (1, 18–19)

Сила и Слава присутствует в творении постоянно. Неким избранникам дано это уловить и передать нам, ослепленным ежедневной мишурой этого мира и невежественно полагающим, что «звезда Преображенья» – всего-навсего свежий поэтический образ.

Величие Жуковского-поэта в том, что искал и находил равноценные для «неизреченных слов» выражения. Не потому ли так богат его словарный запас, так до неисчерпаемости разнообразна ритмика,

будто, и вправду, вычлененная им из мировой гармонии. Воистину: музыка сфер не укладывается в семь нот!

Из большого наследия поэта популярнее всего, без сомнения, его баллады: «Светлана», «Шильонский узник», «Ивиковы журавли», «Лесной царь», «Перчатка» и другие. Мне могут сказать, что в этих балладах мало христианского. В них, напротив, всякие гадания, нечистая сила и вообще чертовщина. Но, во-первых, автор, пусть на свой лад, почти всегда пересказывает сюжеты других – античные, средневековые, фольклорные. Во-вторых, как премудрый сказочник он сам же и разбивает недобрые чары. Вспомним конец «Светланы»:

*О! не знай сих страшных снов  
Ты, моя Светлана.  
Будь, Создатель, ей покров!  
Ни печали рана,  
Ни минутной грусти тень  
К ней да не коснется;  
В ней душа – как ясный день;  
Ах, да пронесется  
Мимо бедствия рука...*

Есть у меня и собственное предположение насчет интереса поэта к «нечистой силе», которое я никому не навязываю. И святые, как известно из житий, знали искушения. Дело не в том, чтобы не знать соблазнов, а в том, чтобы овладеть ими, преодолеть их... Может быть, мастерски, с большим искусством пересказывая страшные сюжеты, Жуковский ощущал, что одерживает некую духовную победу над тем слепым и темным, что обуревают многие души, особенно из самых утонченных. Бесы – тоже духи и предпочитают тонкую материю грубой и непроницаемой для них телесности.

Христианин до мозга костей, Василий Андреевич оставил нам, сверх всего сказанного, несколько стихотворений, писем, мыслей, характеризующих его именно в этом качестве. Они не потеряли интереса и в наши дни. Наоборот, обнаружили свою неуязвимость.

Так немного в отечественной поэзии стихов о Пасхе, тем более не православной, а религиозных меньшинств, проживающих на территории России, что не могу не привести хотя бы отрывка из послания «К Воейкову», где описана Пасха немцев-евангелистов:

*В Сарепте зрелище иное:  
Там братство христиан простое  
Бесстрашием ограждено  
От вредных сердцу заблуждений,  
От милых сердцу наслаждений.*



*Там вечно то же и одно;  
Всему свой час: труду, безделью;  
И легкокрылому веселью  
Порядок крылья там сковал...*

*...Ты зрел, как, вшедши в Божий храм,  
Они смиренно к Небесам  
Возводят взор с мольбой хвалебной  
И служат сердцем Божеству,  
Отринув мрак предрассужденья...  
Что уподобим торжеству,  
Которым чудо искупленья  
Они в восторге веры чтут?..  
Все тихо... полночь... нет движенья..  
И в трепете благоговенья  
Все братья той минуты ждут,  
Когда им звон-благовеститель  
Провозгласит: воскрес Спаситель!..*

Замечательная по точности и выразительности строка: «Порядок крылья там сковал» не отрицает заинтересованного и уважительного отношения автора к чужому обряду, к необычному празднеству. Религиозная непримиримость и нетерпимость существовали всегда. Еще Блаженный Августин почти полторы тыщи лет назад боролся с ними, выдвинув мудрый принцип: «В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – любовь». Довольно часто цитируются теперь эти слова, но я позволила себе повторить их еще раз. Любимый Жуковским Гете, с которым он был знаком, которому посвятил стихи, говорил, что истину надо твердить постоянно, потому что кругом так же постоянно повторяются ошибки...

Как христианин относился Василий Андреевич к самоубийству. Поэт Кюхельбекер, всем известный нескладный Кюхля, будущий декабрист, как-то попал в тяжелое положение и решил наложить на себя руки. К счастью, намерением своим он поделился с Жуковским. Вот какую отповедь получил Вильгельм Карлович от «мягкого» старшего друга:

«По какому праву браните вы жизнь и почитаете себе дозволенным с нею расстаться! Этому нет никакого другого имени, кроме унижительного: сумасшествия! Вы можете быть деятельны с пользой, а вы бросаетесь в область теней и с какою-то гордостью смотрите оттуда на существенное, могущее для вас быть прекрасным. Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные; если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте, – вот в чем достоинство человека!

Сделать из себя кусок мертвечины... весьма легко... оригинально-

сти же нет в этом никакой... Как ваш духовный отец, требую, чтоб вы покаялись и перестали находить высокое в унижительном. Вы созданы быть добрым, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты ни терзала...»

Зная, сколько пришлось пережить самому Жуковскому, спрашиваешь себя, откуда он черпал силы, чтобы свершать свой литературный и гражданский долг, чтобы просто жить дальше... В его дневнике есть такая запись: «Как мало дает утешения мысль в несчастье, говорит Тютчев, очень справедливо и глубоко. Мысль должна обратиться в чувство, и чувство христианское, тогда она будет не утешением, а силою. Смирение».

Полагаю, тут речь идет о так называемом «смиренномудрии», как называют одну из главных человеческих добродетелей проповедники. Ведь просто «смирение» может быть разным. Озлобленным. Притворным. Бывает и «смирение паче гордости», в котором затаились и притворство, и озлобление, и бессознательное желание отыграться на ком-то или на чем-то. «Смиренномудрие», т.е. истинное смирение, надежно и неизменно.

Я говорила о трех этапах жизни поэта – трех перевалах, вверх каждого из которых своим крест, с мужественной готовностью приняты на плечи Жуковским... Который из крестов тяжелее? Трудно сказать. Я думаю: третий.

Только что он стал свободен от царской службы, уехал в Германию, полный творческих замыслов. И вдруг в него, пожилого русского холостяка, влюбляется 18-летняя восторженная немочка, дочь знакомого художника. Лиза жаждет стать женой добрейшего друга отца, родители ее тоже хотят этого брака... Василий Андреевич берет в руки часы и вместе с часами, неумолимо отсчитывающими время, предлагает Лизе остаток своей жизни. Она бросается ему в объятия...

Брак не принес им чаемого блаженства. Юная супруга скоро заболела: депрессивный психоз. Вытащить ее из мрачной бездны психического недуга, – даже на короткое время, – каторжный труд, но Жуковский при ней неотлучно, всегда во всеоружии, всегда готовый на схватку с невидимым чудищем, превосходящим воображение балладных поэтов.

«Молите за нас Бога!.. более всего просите, чтобы Он дал мне терпение...» – пишет он в одном письме.

Дочь и сын рождаются здоровыми. Это – счастье. Счастье – его работа: над переводом гомеровой «Одиссеи», над поэмой «Агасвер»... Не ищите имя Агасвера, или Агасфера, что для нас привычнее, в Библии – его там нет. Сюжет об Агасвере, Вечном Жиде, вошел в литературный и художественный обиход гораздо позднее, в 13 веке. По новейшим апокрифам, тот, кто отказал в помощи Спасителю, когда он следовал на Голгофу, получил в наказание... дар вечного бытия.

Христовы муки перед распятием стали особенно понятны Жуковскому в последние годы его жизни:

*Он нес свой крест тяжелый на Голгофу;  
Он, Всемогущий, Вседержитель, был  
Как человек измучен; пот и кровь  
По бледному лицу его бежали;  
Под бременем своим Он часто падал,  
Вставал с усилием, переводил  
Дыхание, потом, шагов немного  
Переступив, под ношей снова падал...*

Но и страдания Агасвера, который устал жить, но не может умереть, тоже до ужаса вняты поэту:

*...меня моя могила  
Не удержала; я из-под обломков,  
Меня погребших, вышел снова жив  
И невредим...*

Привычнее читать, что могила не удержала Христа. Его Воскресение – победа жизни над смертью, Бога над сатаной – есть величайшая надежда, поданная Новым Заветом человечеству... Бессмертие Агасвера, человека падшего, дурная бесконечность его пребывания на земле, оказывается, худшая кара, какая только может быть уготована смертному!

Семейные обстоятельства и надвигающаяся слепота не позволили Жуковскому закончить поэму. Но и написанного достаточно для серьезных размышлений над его судьбой и всякой судьбой вообще...

Поэт умер на чужбине, до самого конца порываясь душой на Родину. России посвящена одна из последних его записей в «Дневнике» от 15 июня 1846 года: «Разговор, приводящий в трепет, о состоянии бедной России. И помощи никакой. Одна верная, небесная. Но, может быть, нам за наше всеобщее развращение посылается наказание. Нет другой опоры, как в слове: да будет Твоя воля».

«Твоя», разумеется, с прописной буквы.

## БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

### «Мой дух! доверенность к Творцу!»

(К. Батюшков)

На небосклоне отечественной поэзии Константин Батюшков сверкнул необычайно яркой кометой, оставив длинный хвост своих учеников и подражателей. Из строк Батюшкова, пожалуй, самые знаменитые вот эти:

*О память сердца! ты сильнее  
Рассудка памяти печальной.*

Стих его – стройный, гибкий, плавный. Называю те качества, которые он сам более всего ценил в поэзии. Строки Батюшкова расхвата ны на эпиграфы другими авторами, а это удел поэтического совершенства. Порою мы сами не знаем, откуда прицепилось к нам то или иное стихотворное выражение. Как стрела попадает точно в цель и торжественно дрожит своим оперением, так в памяти нашей живут и трепещут батюшковские шедевры в несколько слов: «Я берег покидал туманный Альбиона», «Средь ужасов земли и ужасов морей», «Я видел красоту, достойную венца», «Я чувствую, мой дар в поэзии угас», «И гордый ум не победит Любви холодными словами»...

А любовное признание из элегии Батюшкова:

*Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом!  
Твой образ я таил в душе моей залогом  
Всего прекрасного... и благодати Творца, –*

как вы, наверное, помните, повторил, правда, в сослагательном наклонении, опустив и Бога, и Творца, Евгений Онегин, праотец многих неверующих и слабоверующих интеллигентов:

*Я, верно б, вас одну избрал  
В подруги дней моих печальных  
Всего прекрасного в залог  
И был бы счастлив, сколько мог...*

Библия и Батюшков – не натянуто ли такое сопоставление? У него нет переложений псалмов, книг Ветхого Завета, как у его предшественников, нет и прямой или косвенной переклички с Евангелиями. Достаточно полистать любое издание его стихов, чтобы убедиться: античная мифология на всех фронтах теснит библейскую символику. Он вольно переводит Тибулла, пишет элегию «Гезиод и Омир, соперники» (Гезиод и Гомер. – Т. Ж.), упоминает Овидия, Вергилия, Сафу (Сафо) и многих других. Снисходя к нашему невежеству, составители дают словари собственных и мифологических имен, малоизвестных слов – среди них много греческих и латинских.

Был ли Батюшков верующим? «Я – афей!» – объявил молодой Пушкин (что по-теперешнему звучало бы «атеист») и написал «Гавриилиаду». За Константином Николаевичем таких откровенных высказываний не числится. Но его религиозные переживания легко укладываются в любое подходящее для них поэтическое русло, никакого отношения ни к Библии, ни к христианству не имеющее. Например:

*Но Ты, держащий гром и молнию в руках!  
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.  
Ни словом, ни душой я не был вероломен,  
Я с трепетом богов отчизны обожал...*

(«Элегия из Тибулла»)

Оттуда же – мрачное видение Эреба, преисподней, как она представлялась древним:

*А там, внутри земли, во пропастях ужасных  
Жилище вечное преступников несчастных.*

Потеряв в Лейпцигской «битве народов» двадцатипятилетнего товарища, Батюшков пишет сильное стихотворение «Тень друга». «Я берег покидал туманный Альбиона» – как раз первая его строка. Тут ему очень пригодилось свойственное только замечательному творческому дару умение лепить из воздуха прочные осязаемые формы. Невозможно не поверить в подлинность пережитого поэтом, читая такие строки:

*И я летел к нему... Но горный дух исчез  
В бездонной синеве безоблачных небес,  
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,  
Исчез, – и сон покинул очи.*

(«то был ли сон?» – спрашивает он себя).

«Тень друга» имеет эпиграф также из античного автора – Проперция: «Души усопших – не призрак; смертью не все оканчивается; бледная тень ускользает, победив костер».

Кто-нибудь обязательно скажет мне, что вера – тут налицо. И добавит: «Ну конечно, Батюшков «афеєм» никогда не был, как можно в сем сомневаться?! А посредством какой религии выражена эта вера, не так уж и важно...»

Мне придется просто напомнить тему моих бесед: «Библия и.....» Нет спору, все религии так или иначе связаны между собой, потому что отвечают на самые жгучие вопросы бытия (и небытия). Но не надо все их валить в одну кучу, как это часто делается с «русским размахом», когда христианство не может выпростаться из-под наслоений буддизма, индуизма, зороастризма и т.д. Такая мешанина, как правило, к укреплению духа не приводит – наоборот, расслабляет его.

К тому же мне еще не приходилось слышать или читать о человеке, который в нашем ли, в прошлом ли столетии или даже десять веков назад имел бы веру в Зевса (он же Юпитер), Геру (она же Юнона), Афродиту (она же Венера) и весь пантеон мраморно-гипсовых музейных богов. Наверняка античность была для Батюшкова, как и для других поэтов, роскошной условностью, благодарной сценой, где в декорациях, понятных любому цивилизованному зрителю, разыгрываются драмы и трагедии всех времен и народов. Поиски же высшего начала, упование на него, вечная загадка смерти и посмертного воздаяния – это пьеса, которая, можно ручаться, никогда не сойдет с мировых подмостков...

Так был или не был верующим Батюшков? Не формально выполняющим обрядовые обязанности христианина, – это делали почти все; общество строго следило за внешним послушанием, – веровал ли он сердцем?

О том, что Батюшков – любимец муз, певец любви и дружества, эпикуреец, не чуждый эротике, знает каждый, кто сколько-нибудь интересуется русской поэзией. Такая односторонняя оценка ранила поэта. Он считал себя «обруганным хвалами». А хвалили его больше всего за грациозное изображение рискованных (с тогдашней точки зрения) картинок, вроде следующей:

*Стройный стан, кругом обвитый  
Хмелья желтого венцом,  
И пылающи ланиты  
Розы ярким багрецом.*

.....  
*Я за ней... она бежала  
Легче серны молодой;  
Я настиг – она упала!*

*И тимпан над головой!  
Жрицы Вакховы промчались  
С громким воплем мимо нас;  
И по роце раздавались  
Эвоэ! и неги глас!*

В наше время грубого секса, слишком откровенной телесности, выползающей отовсюду, как тесто из квашни, не худо бы поучиться нам у изящного мастера соблазнительной недоговоренности – Константина Батюшкова. Свои увлечения такого рода он прошел навылет и в записной книжке дал иронический штрих к своему автопортрету: «Сегодня беспечен, ветрен как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока».

Многое предшествовало этой записи... Простой ратник, поэт видел падение Москвы, участвовал в войне 1812, 13 и 14 годов. Был тяжело ранен. Как остался жив, «Богу известно» (из письма Гнедичу). Идеи просветительства, если и держали его в своих розовых цепях, то очень недолго. Может быть, и несправедливо в высшем смысле, но по-человечески понятно, спрашивает он с французской армии за... вольтерьянство, которое еще недавно с пафосом разделял: «Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны».

У каждого поэта есть тайна. Нет тайны – нет и поэта.

Под тайной Батюшкова я разумею не любовные страсти, не амурные грешки, – эротоманом он никогда не был. Современники упоминают несколько его увлечений – и все! Вполне вероятно, что эпикурейскими стихами он, как это водится у пишущей братии, возмещал недоданное Небом.

Тайна была другого рода. Безумие нависало над поэтом. Психической болезнью страдала его рано умершая мать. Неблагополучная наследственность грозила и со стороны отца.

Близкие знали об его опасениях.

«С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли – не знаю», – писал он Жуковскому.

«Белый» и «черный» человек, – развивает эту мысль в своем автопортрете Батюшков, – живут в одном теле. С «черным», как мы можем догадаться, он связывает опасность сумасшествия, творческого бесплодия, беспросветного одиночества... С «белым» – здоровье, духовное и физическое, плоды вдохновения, дружбу и любовь. «Белый, – цитирую поэта, – спасает черного слезами перед Творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми».

Так что «поправел» и «ударился в религию» вольтерьянец и ли-

берал не только потому, что разочаровался в «венчанном революцией» Наполеоне, как утверждают исследователи, но и по причине глубоко внутренней, чисто психологической. Вера была главным условием его дальнейшего полноценного существования.

Задам себе вопрос, несколько странный с обычной точки зрения, но понятный, думаю, современникам и соотечественникам: можно ли у нас в России, став горячо верующим христианином, не оказаться против своей воли в лагере крайне консервативном, реакционном?

«Конечно! – отвечает даже скромная эрудиция. – Тому примером поздний Пушкин, Чаадаев, Владимир Соловьев, философы-богословы «серебряного века», Александр Мень...»

Батюшков – один из первых в этом не столь уж длинном ряду. «Вправо» он двигался очень своеобразно. Славянофилом, в позднейшем понимании этого слова, не стал. Интересно, что сам неологизм «славенофил» с разницей в одну букву («е» вместо «я») придуман Батюшковым, и вон какая у него оказалась долгая история! Квасного патриотизма на дух не выносил, писал другу: «...любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество?.. Глинка<sup>5</sup> называет «Вестник» свой Русским, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!» К Западу, не обольщаясь, правда, буржуазным самодовольством, относился со страстным сочувствием. Уже расставшись со многими либеральными иллюзиями, в том числе и «свободой» на французский манер, написал стихотворение к Александру I, где желал освободителю Европы обессмертить свое царствование освобождением русского народа (стихи не сохранились).

Он не был «извергом» – следовательно был патриотом. Однако любовь к своему не означала для него ненависть к чужому. Понятное ему «повсеместное гражданство» (позднейший космополитизм) не разложило, но утончило его душу настолько, что он смог понять чувства небольшого, внутренне самостоятельного народа, которому не всегда уютно в медвежьих объятиях старшего брата-богатыря:

*Там финна бедного сума  
С усталых плеч валится;  
Несчастный к уголку садится  
И, слезы утерев раздраннм рукавом,  
Догладывает хлеб мякинный и голодной...  
Несчастный сын страны холодной!  
Он с голодом, войной и русскими знаком!*

---

<sup>5</sup> Глинка Сергей Николаевич, писатель и журналист.



Поверхностная вера часто замкнута в самой себе. Не то у Батюшкова! Свою жизнь он хочет строить по Евангелию: любить врагов своих, не судить ближних, мерить людей той мерою, какой и для себя желал бы...

Разгорается литературная борьба. Староверы от словесности воюют с реформаторами, «Беседа любителей русского слова» – с «Арзамасом», Шишков – с Карамзиным. Поле битвы – язык, но вокруг простираются необозримые пространства противоположных умонастроений, общественных, нравственных, религиозных идей... Военный арзамасец в недавнем прошлом, Батюшков пытается сгладить противоречия, видит не только «вину», но и «правоту» супротивников, признается, что «охота спорить... укротилась от времени».

Батюшкова не понимает до конца даже такой родственник по взглядам поэт, как Николай Гнедич, переводчик «Илиады». Гнедич богат, но хочет помочь другу и коллеге: издать его двухтомник. Автор с радостью соглашается на скромные условия, только бы ему ни во что не «вступаться» и ни за что самому не отвечать. Больше издателя волнуется, будут ли подписчики на его «Опыты в стихах и прозе». Да, началось в России 183 человека, пожелавших заранее закрепить свое право на приобретение двухтомника. Это к ним обратится впоследствии уже полубольной поэт, выразив признательность тем немногим, что «единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить» его «слабые начинания».

«Вступиться» в спор все-таки пришлось. Батюшков категорически возражал против включения в «Опыты» самого известного своего опуса: «Видение на берегах Леты». В нем высмеивался русский литературный Парнас, в первую голову, шишковисты обоего пола, что, согласитесь, неожиданно для нас, привыкших относить появление поэтов в юбке к значительно более позднему времени.

Почти все помянутые в «Видении» пииты, пресмешно к тому же обрисованные, тонут по произволу автора в античной реке забвения – Лете. Испытание выдерживает только баснописец Крылов! И вот эту-то вещь, сделавшую его имя популярным в обществе, многократно переписанную от руки (прошлоговековой самиздат!), Батюшков печатать отказался. Удивленному Гнедичу свою несговорчивость он объясняет так: «Лету ни за миллион не напечатаю. В этом стою непоколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть!»

Гнедич не считал возможным не посчитаться с этим **юридическим** письмом. «Видение» появилось в печати впервые только 24 года спустя!

В «Опыты» вошли два важных для нашей темы стихотворных произведения: «Надежда» и «К другу». Начнем с последнего. Стихи

обращены к Вяземскому и, как всякое дружеское послание, начинаются очень лично, неторопливо:

*Скажи, мудрец молодой, что прочно на земли?  
Где постоянно жизни счастье?  
Мы область призраков обманчивых прошли,  
Мы пили чашу сладострастья.  
Но где минутный шум веселья и пиров?  
В вине потопленные чаши?  
Где мудрость светская сияющих умов?  
Где твой Фалерн<sup>6</sup> и розы наши?  
Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез.  
И место поросло крапивой;  
Но я узнал его; я сердца дань принес  
На прах его красноречивый...*

Из примечаний мы узнаем, что московский дом поэта Вяземского, где часто бывал Батюшков, сгорел в пожаре 12-го года. Но разве это так уж важно? У каждого, кто перешел минное поле юности, а то и не достиг его, мог исчезнуть в буре бед дом счастья, или (выразимся по-батюшковски) то, что мы зовем домом счастья. У каждого из нас за спиной хотя бы одно святое место поросло крапивой, – порой же это не место, а целая местность, занятая бурьяном. Таково уж свойство нетленных строк: они выговариваются для нас и за нас...

Но главными для автора мне кажутся другие слова из приведенных выше: «мудрость светская сияющих умов». В самом деле, много ли она может, «светская мудрость» даже избранных умников? Какие «плачевные времена», какие «развалины столиц», «развалины общего порядка» (все выражения принадлежат Батюшкову) она предотвратила? Какой зажгла свет, чтобы он не обратился на глазах текущего или последующих поколений в тьму кромешную? Поэт горячо убежден, что выход в другом:

*Так все здесь суетно в обители сует!  
Приязнь и дружество непрочны! –  
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?  
Что вечно чисто, непорочно?*

.....  
*Я с страхом спросил глас совести моей...  
И мрак исчез, прозрели вежды;  
И вера пролила спасительный елей  
В лампаду чистую надежды.*

---

<sup>6</sup> Вино, излюбленное римскими поэтами.

*Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен:  
Ногой надежною ступаю  
И, с ризы странника свергая прах и тлен,  
В мир лучший духом возлетаю.*

Итак, вера... Поэт не уточняет, какая. Быть может, совсем простая, без интеллектуальных изысканий, – так веруют старушки в церкви, не знаю, право, чем: сердцем, мозговой подкоркой, всем своим существом? Или его вера – плод мучительных раздумий, борений с самим собой, в противовес «светской» – духовной мудрости?

Стихотворение «Надежда» как будто говорит о том, что обе веры совмещены в его сознании:

*Мой дух! доверенность к Творцу!  
Мужайся; будь в терпенье камень.  
Не он ли к лучшему концу  
Меня провел сквозь бранный пламень?  
На поле смерти чья рука  
Меня таинственно спасала  
И жадный крови меч врага  
И град свинцовый отражала?*

.....  
*Кто вел меня от юных дней  
К добру стезею потаенной  
И в буре пламенных страстей  
Мой был вожатый неизменный?  
Он! Он! Его все дар благой!  
Он есть источник чувств высоких,  
Любви к изящному прямой  
И мыслей чистых и глубоких!..*

Придравшись к совпадению интонации и буквально нескольких слов у Батюшкова и Жуковского («А мы?.. Доверенность к Творцу! – «Певец во стане...»), критик 50-х раздражается гневной филиппикой: «Ища нравственной опоры, он (т.е. Батюшков – Т. Ж), пытается ее найти в религии. Отсюда призыв к самому себе, к мятущемуся и смущенному духу: «Мой дух! доверенность к творцу». И не случайно подобное самоутешение, своеобразное гипнотическое заклинание вылилось в стихе, не выстраданном и не выношенном в сердце, а позаимствованном на стороне, вспомнившемся вовремя и механически перенесенном из стихотворения Жуковского»<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Г.Макогоненко. «Поэзия Константина Батюшкова». Вступительная статья к третьему изданию Малой серии Б-ки поэта. 1959 г.

Беспардонность советской критики во всем, что касается религии, известна. Рассуждения «стиховеда» о «не выстраданном и не выношенном в сердце» стихе блестящего поэта достойны горького смеха. Однако что-то уловлено верно. Есть тут элемент самовнушения, а вернее, самообуздания. То «белый» человек в поэте спорит с «черным», сегодняшний христианин – с вчерашним вольтерьянцем, трезвомыслящий – с дремлющим (в каждом из нас!) безумцем.

Как-то раз мне довелось присутствовать на церковной проповеди, посвященной... человеческому безумию. Священник говорил о том, что все смертные, без исключения, бывают в пограничных состояниях, что ум может помутиться у любого сверхнормального человека. Кто слишком полагается на себя, считает себя, любимого, последней инстанцией истины, ощущает свою самодостаточность, не имеет и не желает иметь выхода к ценностям высшего порядка, пусть помнит: это чревато...

Константин Батюшков, как никто, понимает хрупкость нашего сознания.

«Боже великий! что же такое ум человеческий – в полной силе, в совершенном сиянии, исполненный опытности и науки? Что такое все наши познания, опытность и самые правила нравственности без веры, без сего путеводителя и зоркого, и строгого, и снисходительно-го?» («Нечто о морали, основанной на философии и религии».)

Вся мудрость, по Батюшкову, принадлежит веку и обстоятельствам. Меняются времена – меняются и нравственные оценки. Только мораль, основанная на небесном откровении, на истинах Евангелия, «есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени».

Вершина творчества нашего героя – элегия «Умиравший Тасс», на мой взгляд, один из перлов русской поэзии. Нет сомнения, что Батюшков чувствовал свое родство с великим итальянцем, чьи жизненные злоключения – драма и поэма, слитые воедино.

Автор «Побежденного Иерусалима», бродяга, гений, безумец, из тех, что расплачиваются своей брэнной плотью и слишком уязвимой душой за приобщение к вечности, притягивал его как собрат, как жестоко гонимый «божественный певец». Легенда рассказывает, что Торквато Тассо, или Тасс, как произносили тогда, был заключен герцогом-покровителем за любовь к его сестре в сумасшедший дом, где провел 7 лет, 2 месяца и несколько дней. Недуг, который терзал итальянского поэта, надвигался и на Батюшкова: мания преследования. «Тасс, – пишет в примечании к элегии Константин Николаевич, – к дополнению несчастья, не был совершенно сумасшедший и в ясные минуты рассудка чувствовал всю горесть своего положения».

Не будем давать тут историческую оценку крестовым походам, освобождению Гроба Господня от неверных – это увело бы нас силь-

но в сторону... Насладимся великолепным батюшковским стихом, приводящим на память Державина:

*Я пел величие и славу прежних дней,  
И в узах я душой не изменился.  
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,  
И гений мой в страданиях укрепился.  
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,  
На берегах цветущих Иордана;  
Он вопрошал тебя, мутящийся Кедрон,  
Вас, мирные убежища Ливана!  
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,  
В величии и блеске грозной славы...*

Тасс, от имени которого написана большая часть элегии, ведет речь не только о своем «гении», что укрепился в страданиях, не только о рыцарях, стремившихся к христианским святыням, но и о вещах глобальных: низложении Тартара, кресте как знаке любви, приобщении искусств и муз к неземной Славе.

«И Тартар низложен сияющим крестом!» – ликует Тасс устами Батюшкова. В Тартар, ад, как известно из Нового Завета, совершилось сошествие Христа, избавившего грешников от мук, вырвавшего жало у смерти... Не потому ли и страдалец-поэт смотрит в будущее с надеждой и отрадой – так, во всяком случае, видит его на смертном ложе Батюшков:

*«Смотрите, – он сказал рыдающим друзьям, –  
Как царь светил на западе пылает!  
Он, он зовет меня к безоблачным странам,  
Где вечное светило засияет...  
Уж ангел предо мной, вожатый оных мест;  
Он осенил меня лазурными крилами...  
Приблизьте знак любви, сей таинственный  
крест...  
Молитесь с надеждой и слезами...  
Земное гибнет все... и слава и венец...  
Искусств и муз творенья величавы,  
Но там все вечное, как вечен сам Творец,  
Податель нам венца небренной славы!..*

Иисус Христос умер на кресте. Бывший орудием казни, крест становится знаком любви, символом спасения. Батюшков не забывает напомнить об этом. Тому свидетельство – приведенные выше строки. И не только они. В одном из лучших своих стихотворений, «Пе-

реход через Рейн», поэт двумя строчками передает случившееся с варварским миром после крещения:

*Века мелькнули: мир крестом преображен,  
Любовь и честь в душах суровых пробудились...*

И одновременно дает многозначный образ рядового воина:

*Там всадник, опершись на светлу сталь  
копья,  
Задумчив и один, на берегу высоком  
Стоит и жадным ловит оком  
Реки излучистой последние края.  
Быть может, он вспоминает  
Реку своих родимых мест –  
И на груди свой медный крест  
Невольно к сердцу прижимает...*

Итак, на вопрос, был ли Батюшков верующим христианином, можно было бы с уверенностью ответить «да», если бы... если бы в 1821 году он не написал свое известное стихотворение:

*Ты знаешь, что изрек,  
Прощаясь с жизнью, седой Мелхиседек?  
Рабом рождается человек,  
Рабом в могилу ляжет,  
И смерть ему едва ли скажет,  
Зачем он шел долиной чудной слез,  
Страдал, рыдал, терпел, исчез.*

Слова ветхозаветного персонажа Мелхиседека, царя-первосвященника, кстати, придуманные русским поэтом, вроде бы не оставляют человеку никаких надежд. Дата под стихами – спорная, но я принимаю ее, потому что именно в 1821 году прогрессирующая душевная болезнь взяла поэта за горло. «Черный» человек победил. Более 30-ти последних лет из 68-ми Константин Николаевич и жил, и не жил, ибо для поэта творческая немота – смерть. Хуже, чем смерть. Однако предшествующие болезни годы он прожил чрезвычайно активно и прошел, опираясь на посох веры, свой крутой путь поэтического восхождения.

Есть некоторое утешение в том, что 1821-м годом датировано и шестое из «Подражаний древним», которое противоречит изречению Мелхиседека.

В примитивном представлении о вере коренится довольно рас-

пространная ошибка. Верующие, мол, – люди пассивные. Не могут шагу ступить без своего боженьки. Сидят у моря и ждут погоды... «На Бога надейся, а сам не плошай» – возражает на это народная мудрость. Стихи Батюшкова – о том же. Давайте возьмем их с собой в жизненную дорогу. И детям своим предложим. Ведь эти строки обращены к сыну – к сыну, которого не было у поэта:

*Ты хочешь меду, сын? – так жала не страшись:  
Венца победы? – смело к бою!  
Ты перлов жаждешь? – так спустись  
На дно, где крокодил зияет под водою.  
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец.  
Лишь смелым перлы, мед иль гибель...  
иль венец.*

## БЕСЕДА ПЯТАЯ

### «Ум ищет Божества...»

(А. Пушкин)

Со страхом и трепетом, как верующий к чаше со Святыми Дарами, приступаю я к этой теме.

«Евхаристия» – греческое «благодарение» – одно из церковных таинств, когда исповедующие Христа, приняв освященные хлеб и вино, соединяются с Его плотью и Кровью. В таинстве причащения оживает Вечеря Господня, Богу приносится бескровная жертва.

Хрестоматийное послание Пушкина к декабристу В.Л. Давыдову заканчивается четверостишием:

*Ужель надежды луч исчез?  
Но нет! – мы счастьем насладимся –  
Кровавой чаши причастимся –  
И я скажу: Христос воскрес.*

Написать так мог не просто «афей», т. е. атеист, – как правило, атеисты равнодушны к вопросам веры, к церкви и ее установлениям, – а безбожник, закосневший в своем неверии. Тут налицо сознательное выворачивание евангельского завета, известного всем современникам автора, впитанного ими с молоком матери.

Справедливо считают, что творчество Пушкина – вечно плодоносящее лоно нашей культуры. Из него произрастало и произрастает едва ли не все значительное, что есть в словесности русской. Мы привыкли говорить об этом только в положительном контексте. Но есть особые случаи. Христос поэмы «Двенадцать», возглавляющий отряд красногвардейцев, которые «ко всему готовы», и прежде всего пальнуть «пулей в Святую Русь», может быть, берет начало от пушкинского Христа, сопряженного с «кровавой чашей» причащения.

В послании к В. Л. Давыдову немало и других хульных (от слова «хула») строк. Например: «Митрополит, седой обжора, / Перед обедом невзначай / Велел жить долго всей России / И с сыном птички и Марии / Пошел христосоваться в рай...»



Сын «птички» и Марии это, конечно, Христос. «Птичкой» тут небрежно, с намерением осмеять и унижить, назван Дух Святой, одна из ипостасей Троицы, наряду с Отцом и Сыном. На разных языках («руах» по-древнееврейски, «пневма» по-гречески, «спиритус» по-латыни) слово «дух» совпадает с «ветром» и «дыханием». Оно передает космический образ божественного дуновения.

Стихи Пушкина, обращенные к декабристу Давыдову, показательны. Они погружают нас в духовный антими́р, где бескровная жертва Богу оказывается кровавой. Дух Святой оборачивается птичкой, «кровь Христова» разочаровывает тем, что это «с водой молдавское вино», а не вожделенный лафит, и т.д. Все это сказано вроде бы в шутку. Но приведенное выше четверостишие звучит даже слишком серьезно.

В том же 1821 году Пушкин пишет поэму «Гавриилиада». Позволю себе привести сценку из жизни. Училась я тогда в шестом классе. Пушкина первоначально проходили в пятом. Няня Арина Родионовна, святая лицейская дружба, злой царь и страдалец-поэт – все это вошло в сознание очень рано. Как и волшебные стихи: «Буря мглою...», «Узник», «У Лукоморья...» Я была заворожена судьбою Пушкина и его стихами.

И вдруг... Приходит ко мне одноклассница.

– Пушкин у тебя есть?

Родители мои были далековаты от литературы, но собрание сочинений Пушкина дома имелось.

– Четвертый том есть?

Нашли и четвертый том.

– Открой «Гавриилиаду»! – Открыла. – Читай вслух!..

Каюсь, но многие строфы этого богопротивного произведения осели в моей памяти после того первого знакомства – так чудесны, легки и изящны были сами стихи:

*Два яблока, висят на ветке дивной  
(Счастливым знаком, любви символ призывный),  
Открыли ей неясную мечту.  
Проснулись неясные желанья;  
Она свою познала красоту,  
И негу чувств, и сердца трепетанье,  
И юного супруга наготу!  
Я видел их! любви – моей науки –  
Прекрасное начало видел я.  
В глухой лесок ушла чета моя...  
Там быстро их блуждали взгляды, руки...*

Сейчас, когда соединение мужчины и женщины часто происходит обыденно до ужаса, а то и жестоко, бесчеловечно и потому безрезультатно (в высшем смысле) для обоих партнеров, ловишь себя на грешной мысли: пусть бы такие стихи как запретный плод заинтересовали зеленых юнцов и они, посягнув на тайну тайн, существующую в мире, осознали, что это тоже таинство, не церковное, не все же у нас венчаются, – но душевно-физическое...

Но продолжим разговор о «Гавриилиаде». Спору нет: поэма кощунственна по отношению к библейским, особенно же евангельским святыням. Как сказали бы люди набожные, тут не обошлось без бесовского вмешательства. Высказывалось предположение, что поэма была задумана Пушкиным в праздник Благовещения, во время обедни, за которой читается Евангелие от Луки. Известно, что план «Гавриилиады» Пушкин набросал в среду на Страстной неделе, перед Великим четвергом, когда, по словам другого великого поэта, «Сады выходят из оград,/ Колеблется земли уклад:/ Они хоронят Бога» (Б. Пастернак).

Двадцатидвухлетний Пушкин, женолюб, озорник, «сущий бес в проказах» (по собственному признанию), сплел прихотливый узор из двух библейских текстов.

В Евангелии от Луки (1, 26-31, 34, 35) говорится: «...послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус (...) Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; почему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим...»

В том невидимом мире с обратным знаком, где пребывала душа поэта, произошла неизбежная подмена: «честнейшая Херувим», «славнейшая без сравнения Серафим», как поется за каждой литургией в «Песни<sup>8</sup> Богородицы», воплощенная чистота, готовая исполнить предопределенное свыше, превратилась в обычную земную женщину, нежную, томную, легко преодолевающую стыдливость... Остальное слишком известно.

Второй библейский текст, использованный в поэме, ветхозаветный. Он повествует о грехопадении Адама и Евы. Откусать плодов с

---

<sup>8</sup> От слова «песнь».

райского запретного дерева подбил любопытную Еву, как известно, змий, он же сатана. Пушкина не занимает философский аспект Первоначального греха: желание первых людей «быть как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3,5), их притязание поставить свою волю выше воли Творца (за что и были изгнаны из Рая). Поэта влечет другое: «наука любви», преподанная пращуром сатаной, об этом-то знают все, даже неверующие.

В южной ссылке, где поэт назвал ханжеству двора и занудному морализаторству цензуры (так нас учили; это – правда, но не вся правда) сочинил «Гавриилиаду», он еще раз обращается к Евангелию, пишет стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» (1823 г.) В эпиграфе ставит начальный стих из Христовой притчи: «Изыде сеятель сеяти семена своя<sup>9</sup> .»

Продолжу притчу в русском переводе: «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока; Когда же возшло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13, 4–8)

Что у Пушкина?

*Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя –  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...  
Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.*

«Я... написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа», иронизируя над собой, сообщает поэт другу.

«Басня» не оставляет от политических надежд камня на камне. Живительные семена свободы от зла внешнего – тирании, бесчес-

---

<sup>9</sup> ...вот, вышел сеятель сеять (церк.-слав.)

тия – обречены сгнить, не дав плода. Христов работник сеял нечто совсем иное: «... если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31-32) завещал Учитель; «...где Дух Господень, там свобода» – прояснил сомневающимся Апостол Павел (2 Кор. 3, 17). Итак, в божественном смысле речь может идти только о свободе внутренней, сокровенной, о той, что отзовется в позднем пушкинском стихотворении «Из Пиндемонти»: «Иная, лучшая потребна мне свобода: / Зависеть от властей, зависеть от народа – / Не все ли нам равно?..»

Но до этого стихотворения должно пройти 13 лет!

Африканский темперамент поэта жаждет бурь, борьбы. У современных ему читателей в памяти свежа его вольнолюбивая лирика; многие молодые либералы, будущие декабристы – его товарищи; отказаться от юношеских идеалов – значит, отказаться от себя. Для Пушкина середины 20-х годов по-прежнему «гроза – символ свободы». Так – в природе; не то же ли и в жизни общества, в истории, которая творится на глазах? Безмерно далеки от смирения стихи Пушкина «Недвижный страж...» (1824 г.), где Александр I предстает как презренный укротитель Европы («Целуйте жезл России / И вас поправшую железную стопу»), где все симпатии автора на стороне мятежного Наполеона.

Стихи Пушкина о сеятеле я назвала бы опережающими – события, собственное его мировоззрение.

Возможно, для него самого (с гениями это случается!) были неожиданны выводы этого стихотворения, и он поначалу приписал их... внушению «лукавого демона». Убедиться в этом можно, прочитав набросок «Мое беспечное незнание...» (1823 г.)

Наградив поэта своим ясновидением, но и крайним скептицизмом в придачу, беспощадным знанием людей («Пред боязливой их толпой, / Жестокой, суетной, холодной, / Смешон глас правды благородный, / Напрасен опыт вековой»), первый демон исчезает. Исчезает, чтобы уступить место второму, еще злейшему, – тот отравит поэту самый вкус жизни:

*Печальны были наши встречи:  
Его улыбка, чудный взгляд,  
Его язвительные речи  
Вливали в душу холодный яд.  
Неистощимой клеветой  
Он провиденье искушал;  
Он звал прекрасное мечтою;  
Он вдохновенье презирал;  
Не верил он любви, свободе;  
На жизнь насмешливо глядел –*

*И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.*

Это уже не лукавый демон – это «злобный гений». Он посягает на то святое, что еще осталось «пустынному сеятелю»: красоту, вдохновение, любовь, свободу.

Хотя современники упорно называли прообразом процитированного выше стихотворения «Демон» Александра Раевского и последний, действительно, более всего проявлял себя «в резком и язвительном отрицании», Пушкин не соглашался с такой плоской трактовкой. Из черновой заметки можно узнать, что он хотел «в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения» и «печальное влияние оно на нравственность нашего века».

В 1827 году Александр Сергеевич пишет стихотворение «Ангел»:  
«В дверях эдема ангел нежный/ Главой поникшею сиял./ А демон мрачный и мятежный/ Над адской бездною летал./ Дух отрицанья, дух сомненья/ На духа чистого взирал./ И жар невольный умиленья/ Впервые смутно познавал./ Прости, он рек, тебя я видел,/ И ты недаром мне сиял;/ Не все я в мире ненавидел,/ Не все я в мире презирал.»

Можно удовлетвориться поверхностным объяснением: демон – опять же А. Раевский, ангел – Воронцова, чью поникшую головку так любил изображать Пушкин. Но смысл стихов, я думаю, глубже. Два духа, по религиозным представлениям, сопровождают душу человеческую и ведут за нее борьбу: дух добра и дух зла. Тут они оторваны от своего подопечного, как бы выведены в инопространство. Один из них «в дверях эдема», т.е. рая. Другой – в полете «над адской бездною». В привычном нам измерении бытия диалог их вообще вряд ли возможен. Но... духовные сущности общаются неизвестным нам путем. Ухватимся с облегчением за знакомый термин: передача мысли на расстоянии. Так что же это за мысль? Демон признается ангелу в своем поражении, пусть частичном... Смею предположить, что это имеет непосредственное отношение к душе поэта.

Между «Демоном» и «Ангелом» Пушкин создает программное, как выразились бы теперь, стихотворение «Пророк».

Еще в 1817 году, на выпускном экзамене российской словесности, восемнадцатилетний Пушкин прочел свое стихотворение «Безверие». Сколь многим, думаю, знакомо то состояние холодной отчужденности, что сопутствует человеку, случайно, по внешней необходимости или в результате насилия над собой попавшему на церковную службу:

*Во храм ли Вышнего с толпой народа входит,  
Там умножает он тоску души своей.*

*При пышном торжестве священных алтарей,  
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,  
Тревожится его безверия мученье;  
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,  
С померкшею душой святыне предстоит...*

Безверие может быть легким, спокойным, удовлетворенным, торжествующим, наглым. Пушкинское безверие горестно. Почему? С непосредственностью ребенка автор стихов отвечает от лица неверы: «он первого лишился утешенья!» О том, что вера не только утешенье, но и труд, что «Царство Небесное силою берется» (Мф. 11, 12), он, видимо, даже не догадывается.

*Лишенный всех опор, отпадиший веры сын  
Уж видит с ужасом, что в свете он один...  
Напрасно вокруг себя печальный взор он водит:  
Ум ищет Божества, а сердце не находит...*

Парадокс гения! Мысль идет не исхоженным путем: мозг мне говорит, что Бога нет, а сердце хочет во что-то верить. Тут как раз в сердце пустота, а ум продолжает поиски... Через несколько лет, пораженный беседой с Пестелем, Пушкин занесет в дневник (по-французски): «Сердцем я материалист, но ум противится этому». Современный нам поэт переведет фразу чуть иначе; «Я душой/ Матерьялист, но протестует разум»<sup>10</sup>

«Разум» тут, пожалуй, даже уместнее. Вспомним «Вакхическую песню»: «Подыдем стаканы, содвинем их разом! / Да здравствуют музы, да здравствует разум!» Стоящее в конце строки, увенчанное восклицательным знаком, щедро, во всю звуковую длину, рифмующееся со словом-эхом «разом», это слово навсегда врезается в память, остается с нами как «пушкинское».

Итак, его ум смолоду «ищет божества»; его светлый, трезвый, несколько не склонный к самообольщению разум протестует против безверия. Что последует за этим?

Через год после «Вакхической песни» (1826) пишется «Пророк».

Мы думаем, что досконально знаем «Пророка», потому что его в школе учили. На самом деле, это одно из таинственных произведений Александра Сергеевича. Начать с того, что оно единственно уцелевшее из целого стихотворного цикла (остались свидетельства). К тому же нынешний «Пророк» имел непосредственного предтечу. Старый пушкинист Н. Лернер в книге, которая сегодня раритет<sup>11</sup>, приво-

<sup>10</sup> Д. Самойлов. Стихотворение «Пестель, поэт и Анна».

<sup>11</sup> «Рассказы о Пушкине». «Прибой», 1929 г.

дит интересные факты из разных мемуаров. Отправляясь на свидание к Николаю I, не зная своей участи, думая, что его везут «не на добро», Пушкин имел в своем бумажнике стихи возмутительного содержания, а именно «Пророка». Окончание стихов по одной версии читалось так: «Восстань, восстань, пророк России,/ В позорны ризы облекись,/ Иди и с вервием вокруг выи/ К У. Г. явись». «Уж не к Убийце ли Гнусному?» – не без оснований предположил другой пушкинист, горюя о судьбе пяти декабристов.

Император, как известно, протянул поэту царственную руку, – и Пушкин отказался от «Пророка России» во имя общеизвестного «Пророка». Было ли то его поражением? Кто-то скажет: да. Не могу с этим согласиться.

Откуда взялись раскаленные гипертрофированные образы этого стихотворения? Властная, победительная интонация Того, кто может командовать самим поэтом (или, скромнее, его лирическим героем)? Что это вообще такое – «пророк»? Вспышка гениального сознания? Или использование так называемого «бродячего сюжета»? Существует некий прообраз, и творцы разных времен, разных стран перетолковывают его по-своему, дают собственную интерпретацию.

В Ветхом Завете книги пророков занимают большое место, около четверти всего текста. Они не только прорицатели будущего, они свидетели истины, посланники Неба. Кто не поленится прочитать или хотя бы просмотреть эту часть Библии, будет потрясен: как живо, страстно, злободневно звучит произнесенное две с половиной тысячи лет назад!

Но вернемся к пушкинскому «Пророку». В любом добросовестном комментарии сказано про «серафима» и «горящий уголь», взятых поэтом из Книги Исаии и переплавленных в ключевые образы стихотворения. Можно сопоставить «духовную жажду», которой, помните, был томим поэт, с той, что у пророка Амоса названа «жаждой слышания слов Господних» (8,11). Глаголы повелительной формы из Книги Ионы: «встань», «иди», «проповедуй» (3,2) перекликаются с концовкой «Восстань, пророк...» Дело, однако, не в совпадении отдельных деталей. А в том духе подлинной свободы, готовности служить божественной истине, и только ей одной, которыми отныне проникается творчество лучшего поэта России. «Веленью Божию, о муза, будь послушна» – подтвердит он через десять лет в стихотворении без названия, впрочем, прославившемся как «Памятник».

В свое время все мы зубрили одно из посланий «К Чаадаеву»: «Любви, надежды, тихой славы...» Не раз и не два, не в одних лишь *серых* аудиториях, я сталкивалась с абсолютным непониманием личности П. Я. Чаадаева, характера его влияния на Пушкина – всегда благотворного. Втемяшилось многим в голову: гусар царскосельского полка подбивал молодого впечатлительного поэта на бунт прямо под

боком у царя, и подопечный старался соответствовать, заверял: мол, «на обломках самовластья/ Напишут наши имена!»

Сам Петр Яковлевич спустя десять лет после гибели друга так определил свое участие в пушкинской судьбе: «спас его и его чувства... воспламенял в нем любовь к высокому». Это – скрытая цитата из Пушкина. Действительно, спас и от Соловков, и от недооценки отпущенного ему великого дара. Что же касается любви к высокому... Весной 29 года Чаадаев писал поэту: «Самое пламенное мое желание, мой друг, видеть вас посвященным в тайну времен. Нет более прискорбного зрелища в нравственном мире, как гениальный человек, не постигший своего века и своего предназначения (...) Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем, что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет, который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей (...) Киньте крик к небу – оно вам ответит».

Еще в 1824 году Чаадаев пишет из-за границы письмо брату с характерной для мистического умонастроения «потусторонней» тревогой. Ему стало известно о многочисленных жертвах петербургского наводнения. «Страшно подумать, из этих тысяч людей, которых более нет, сколько погибло в минуту преступных мыслей и дел! Как явятся они перед Богом!» – вот его непосредственная реакция.

То же и мы могли бы сказать, видя кто по ТВ, а кто и в натуре, как скопом и поодиночке отправляют на тот свет легион смятенных, озлобленных, не готовых к испепеляющему грех свету вечности несбывшихся душ! Да, могли бы, если бы... верили по-чаадаевски...

Совпадение или нет, но в том же 29-м году, когда Чаадаев просил его кинуть «крик к небу», Пушкин сочиняет «Жил на свете рыцарь бедный...», где легкая, как бы шутовская интонация маскирует вещи нешуточные:

*Между тем как он кончался,  
Дух лукавый подоспел,  
Душу рыцаря сбирался  
Бес тащить уж в свой предел:  
Он-де Богу не молился,  
Он не ведал-де поста,  
Не путём-де волочился  
Он за матушкой Христа.*

(Как тут не вспомнить «Гавриилиаду»!)

*Но Пречистая сердечно  
Заступилась за него  
И впустила в царство вечно  
Паладина своего.*



Напомню, что «рыцарь бедный» был «странный» человек, верный «набожной мечте», поклонявшийся не Отцу, не Сыну, не Святому Духу, а лишь Матери господа Христа.

Все, что пишет поэт лирического склада, – а это определение верно не только в отношении «тихих лириков», но и поэтов иного масштаба, – он пишет в какой-то степени и о себе.

Часто говорят (и упрекают в этом Пушкина), что черты Мадонны, т.е. Богородицы, он видел в женщинах, его окружающих, и прежде всего в жене. Да, красота была для него божеством. Многих смущают ножницы между словами «гений чистой красоты» и реальной Анной Керн – небесное никак не состыкуется с земным. Но как это по-пушкински: что именно заступница небесная, вечная Красота и Чистота, не дала пропасть душе его героя и взяла его в свое Царство.

Интересно, что через несколько лет поэт снова употребит глагол «заступиться», и в сходном контексте. Я говорю о стихотворении «На Испанию родную...», переложении из английского поэта Саути:

*Хочет он молиться Богу  
И не может: бес ему  
Шепчет в уши звуки битвы  
Или страстные слова.  
Но отшельник, чьи останки  
Он усердно схоронил,  
За него перед Всевышним  
Заступился в небесах...*

Не будем выхолащивать Пушкина! Во многом он остается прежним, «неправильным», многокрасочным, как сама жизнь. Но тревога, так прекрасно выраженная в чаадаевском «как явятся они перед Богом», уже никогда не покидает его.

В 35–36 гг. поэт перелагает с других языков стихи совершенно определенной направленности. Вносит в переложения немало своего. «Отсебятины» сказали бы теперь. Но это пушкинская золотая отсебятина.

В «Страннике» из английского проповедника Д. Беньяна герой бежит от жены и детей, одержимый священным безумием:

*Я встретил юношу, читающего книгу.  
Он тихо поднял взор – и попросил меня,  
О чем, бродя один, так горько плачу я?  
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:  
Я осужден на смерть и позван в суд загробный –  
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,  
И смерть меня страшит»...*

В чем же цель странника?

*...узреть – оставя те места,  
Спасенья верный путь и тесные врата.*

«Спасение» – важнейшее слово библейского языка. Оно часто встречается и в Ветхом Завете. Христос – Спаситель, потому что послан к грешникам спасти их не по делам их, а по милости Божьей. Но и от человека требуется встречное стремление. «Тесные врата», ведущие к спасению, – евангельское понятие. Есть оно и у Матфея (7, 13-14), и у Луки (13, 24).

Иногда новоначальные христиане и просто мыслящие люди спрашивают, что такое грехи не плоти, а духа. В пушкинском переложении великопостной молитвы поэта Ефрема Сирина, жившего в IV веке в Месопотамии, грехи духа поименованы так: «Владыка дней моих! дух праздности унылой, / Любоначалия<sup>12</sup>, змеи сокрытой сей, / И празднословия не дай душе моей...» В оригинале: «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне...»

На все лады – страстно, скрупулезно, пронзительно, стилем судебного обвинения, стилем задушевного письма – рассказаны последние дни Александра Сергеевича... Ныне не секрет уже и рассчитанная на потомков словесная чеканка Николая I: «Пушкина мы насилу довели до смерти христианской». Под этими словами разумелось: исповедь умирающего поэта и приобщение Святых Тайн. Сохранились свидетельства о беспримерном мужестве смертельно раненного гения, об его терпении и любви к близким и друзьям. Исповедь? Но разве такое покаянное стихотворение, как «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»), разве все творчество поэта не исповедь его? Прав ли царь: точно ли Пушкин хотел умереть, подобно своему «рыцарю бедному», «без причастия»? Не будем допытываться. Прежде чем задернуть занавес, дадим слово еще одному поэту: В. А. Жуковскому. Стихи горячо верующего Василия Андреевича – нет, не о бессмертии души младшего друга, – скорее о готовности ее принять бессмертие.

Сам Пушкин избегал распространяться на эту тему. А то и шутил: «Ах! Ведает мой добрый гений, / Что предпочел бы я скорей / Бессмертию души моей / Бессмертие своих творений». (1817 г.)

Правда, есть у него чудесная эпитафия умершему в младенчестве сыну Сергея Волконского и Марии, в девичестве Раевской:

*В сиянье, в радостном покое,  
У трона вечного Творца,*

---

<sup>12</sup> Любоначалие – властолюбие, желание командовать.

*С улыбкой он глядит в изгнание земное,  
Благословляет мать и молит за отца.*

Но это, скажут скептики, только метафора: попытка поэтически-ми средствами смягчить горе безутешных родителей, да и к тому же память любви к Марии Николаевне...

Сдержанность Пушкина по этой части побуждает и страдающего, сопереживающего другу Жуковского не договаривать. Отчего стихи только выигрывают, становятся свидетельством неоспоримым:

*Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,  
Что выражалось на нем, — в жизни такого  
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья  
Пламень на нем; не сиял острый ум;  
Нет! Но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью  
Было объято оно: мнилось мне, что ему  
В этот миг предстояло как будто какое виденье,  
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:  
Что видишь?*

Начало февраля 1837 г.

## БЕСЕДА ШЕСТАЯ

### «И в небе земное его не смутит»

(Е. Боратынский)

Пожалуй, как никто из русских поэтов, он оправдал свою фамилию. Польскую по происхождению. Бора тын. Божий тын. Божия оборона. Не мое изыскание, — В. Кожинава, — но с благодарностью принимаю.

И ведь был обороняем Богом, был... Любая жизнь — не идиллия, тем более жизнь выходящего из ряда вон таланта. Но кто знает биографию поэта, надеюсь, согласится со мной: судьба, не раз ополчавшаяся на Боратынского, складывала оружие как раз тогда, когда казалось, что силы его иссякают, еще немного и терпению придет конец. Столкновения с фатумом разрешались в его пользу. Военная служба — унижительная солдатчина за отроческую зловредную шалость — высвободила душу для творчества, косвенно помогла войти в пушкинскую среду, снискала ему особое расположение разных людей, от поэтического мэтра Жуковского до бивачных сослуживцев, иные из которых стали его друзьями навсегда. Любовная отверженность, рано отплывший в крови темный «огонь желаний» подтолкнули к браку по рассудку, на редкость удачному и многодетному. Разрыв с литературными единомышленниками, все растущий холодок со стороны читающей публики заставили еще больше углубиться в себя, в одиночку продолжать поиски истины, создать великую книгу «Сумерки». И даже преждевременная смерть все-таки случилась в лучшую пору лета, в день апостолов Петра и Павла, в роскошной Италии и была скоропостижной.

Прямо по слову апостола: «... если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу...» (2 Кор, 4, 16-17)

Размышляя на тему, заявленную выше, испытываешь соблазн: вырвать из творческого наследия поэта как наиболее веский аргумент отдельные строфы и строки с библейским наполнителем. А таких немало.

*С Израилем певцу один закон:  
Да не творит себе кумира он!*

Даже непосвященные знают, что одна из десяти заповедей, данных Богом человеку через пророка Моисея, гласит: «Не сотвори себе кумира». В привычном переводе: «Не делай себе кумира...» (Исход 20, 4)

В стихотворении «Не подражай: своеобразен гений...», откуда взята цитата, поэт далек и от богословских, и от житейских соображений по поводу Божьих заповедей. Он ведет мысленный диалог с Мицкевичем, а возможно, и с самим собой. Не забудем: ему выпала счастливо-мучительная доля быть современником Пушкина! Стихи заканчиваются чуть ли не крамольной с ортодоксальной точки зрения фразой: «Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!»

Разумеется, Боратынский не собирался творить кумира из поэтического гения. Под «богом» не подразумевал Творца неба и земли. К Тому обращены совсем другие строки. Но, необычайно высоко ставя миссию поэта, именно поэта самостоятельного, победившего все влияния, очевидно, считал себя вправе распространить вторую по порядку заповедь на работу поэтическую, уподобить творца стихов Создателю Вселенной.

Еще одна выдержка:

*Спасибо вам, я не в утрате!  
Как богоизбранный еврей,  
Остановили на закате  
Вы солнце юности моей.*

«Богоизбранный еврей» – Иисус Навин, чья книга входит в Ветхий Завет. Это он сказал солнцу «стой», чтобы оно светило его соплеменникам до победы над врагами. Это с его немеркнущим именем рифмовал свою фамилию Гаврила Державин.

Но Боратынского и в данном случае не занимают чисто религиозные материи. Это только поэтический образ! Ближаясь к своему раннему закату, он спешил размежеваться с литературными недругами, недавними приятелями. Почему – это особый разговор. Причина размежевания, считают некоторые исследователи, до конца не ясна до сих пор. Но форма, в которой брошен вызов «злобе хлопотливой», я думаю, не случайна. Не потому ли сравнение заимствовано поэтом из Библии, что его оппоненты – любомудры и иже с ними внешне весьма и весьма чтити Книгу книг, цепко держась за букву Писания, но далеко не всегда за суть?!

Резко отталкивается поэт от братающихся ничтожностей в эпиграмме, обращенной к «Коттерии» (т. е. сомнительному кружку заговорщиков), опять-таки прибегая к цитате из Библии:

*«Аминь, аминь, – вещал он вам, – где трое  
Вы будете – не буду с вами я».*

Христос, сказавший ученикам Своим: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20), как видим, с «коттерией» ничего общего иметь не хочет.

Занятно, что концовка послужила причиной цензурного запрещения эпиграммы. Боратынскому, поэту, вроде бы, «аполитичному», вообще не везло с цензорами. У них был безошибочный нюх на все нетривиальное, если оно с какого-то бока касалось церковных догматов. Цензура потребовала убрать Магдалину («Как Магдалина, плачешь ты/ И, как русалка, ты хохочешь»), не допуская мысли, что земную женщину можно сравнить с Марией из Магдалы, переродившейся грешницей, той, что сопровождала Иисуса до конца и, по Евангелию от Марка, первая приняла весть о Воскресении. Цензура восстала против гениальной концовки «Недоноска». Но об этом речь впереди.

И все-таки тема «Библия и Боратынский» решительно не исчерпывается ни цитатами из Писания, ни употреблением слов «культурного назначения», например: «И чистоту поэзия святая,/ И мир отдаст причастице своей». Мы уже говорили о причастии (см. начало беседы о Пушкине). Здесь отсыл к религиозному понятию куда более уместен, чем в пушкинском послании декабристу В. Л. Давыдову.

Как и у Батюшкова, Пушкина, Тютчева и др., у Боратынского чаще встречаются античные атрибуты, чем библейские. Было бы непростительной натяжкой объявлять его христианским поэтом, ссылаясь на использование в стихах нескольких отправных мест из Ветхого или Нового Заветов.

Но осмеливаюсь предположить, что связь русского поэта-философа № 1 с Библией и шире, и глубже, чем это может показаться на первый взгляд.

«Блистательных туманов царь», – сказал о себе в «Осени» сам Евгений Абрамович. А не походит ли он еще на одного царя, «царя в Иерусалиме», чья книга вошла в Ветхий Завет и среди других его жемчужин не утратила и никогда не утратит только ей присущего мрачного сияния?

В том, что Екклесиаст (так в синодальном переводе) произведение великого мыслителя, сомнений ни у кого нет. «Время разбрасывать камни, и время собирать камни», «во многой мудрости много печали», «Притесняя других, мудрый делается глупым», «при печали лица сердце делается лучше» – все это «Екклесиаст». Ну а рефрен, относящийся к нашей каждодневности: «суета и томление духа!» был и есть чуть ли не у каждого на устах.

Почему же такая, с позволения сказать, пессимистическая книга вошла в Библию? Не противоречит ли она упованию на конечную справедливость Верховного начала, пронизывающему не только Новый, но и Ветхий Завет?

Очевидно, древние составители Библии были куда менее ортодоксальны, чем апологеты более близких времен. Серьезные богословы и христианские подвижники ценили в Екклесиасте то поистине неоценимое качество, что на языке аскетов называется «трезвением»: бесстрашный, объективный взгляд на вещи, незамутненный утопическими мечтаниями. Напоминаая о неизбежной суете преходящего, Проповедник (другое имя автора) звал в сферы высшие, за пределы ограниченного земным опытом мира.

Чрезвычайно любопытно проследить, как в нескольких точках пересекаются мысли ветхозаветного мудреца и одного из самых трезво-мыслящих представителей золотого века русской поэзии.

Речь, конечно, идет не о подражании и даже не о родстве душ, а, скорее, о столь же нечаянных, сколь и закономерных соприкосновениях духовного порядка.

«И предал я сердце мое тому, чтоб *исследовать* и *испытать* мудростию все, что делается под небом...» (Екк. 1, 13)

«Две области, сияния и тьмы./ *Исследовать* равно стремимся мы...» (Боратынский). «Пока человек естества не *пытал*/ Горнилом, весами и мерой...» так начинается стихотворение «Приметы».

«Чем *испытует* небо вас?» – внезапно возникает обратная связь.

«Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается на круги свои» (Екк. 1, 6)

«И, тесный круг подлунных впечатлений/ Сомкнувшая давно./ Под веяньем возвратных сновидений/ Ты дремлешь...» – пишет поэт о душе человеческой. И «веянье» перекликается с «ветром», по смыслу и фонетически.

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению...» (Екк. 9, 5)

*Живи живой, спокойно тлей мертвец!  
Всесильного ничтожное созданье,  
О человек! уверься, наконец,  
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!*

Вывод абсолютно екклесиастовский!..

Параллели можно продолжать, ибо и слово «суета» излюбленно Боратынским. И, как в книге Проповедника, строго разграничены в его поэзии, да и жизни, женщина и жена. И одиночество, в его метафизическом плане, стучится к обоим, и сладкий «сон трудящегося» (Екк. 5, 11) – не для них...

22 века разделяют Евгения Боратынского и легендарного Екклесиаста. Неужели и поэтический гений, и трезвый ум идут все по тому же замкнутому кругу «и нет ничего нового под солнцем»? Неужели

мощные излучения Нового Завета не прошли насквозь, а лишь тронули по касательной творчество одного из создателей нашей поэзии?

К счастью, это не так! Я уже говорила, что еkkлесиастовское умонастроение, по неведомым нам духовным законам, сквозь мрак разуберения и разочарования ведет иные души туда, где нет тлена, нет бренности, где все вечно, абсолютно.

У Боратынского мотивы «несрочной» весны» (т.е. не имеющей срока, бесконечной), «неосязаемых властей» (духов), «заочного мира» (мира незримого) рождаются в середине и крепнут к концу творческого пути. Говоря о «беспредельном» предельными словами общеупотребительного языка, он не мог не сознавать, что его поэзию нехорошего толка поймут и оценят немногие.

«Но не найдет отзыва тот глагол, / Что страстное земное перешел...», «Там, быть может, в горнем клире, / Звучен будет голос твой...» (т.е. в небесах, а не на земле) – это не жалоба, но констатация факта.

Даже мы, любящие родную поэзию и верящие ей порой больше, чем философии, не отталкиваемся ли внутренне от этих странных стихов? «Земное поприще» – это нам понятно, а вот «земное» в качестве дополнения, да еще с прилагательным «страстное» в том же винительном падеже, заставляет, поди, не одну меня запинаться. Но вслушаемся:

*Мужайся, не слабей душою  
Перед заботою земною:  
Ей исполинский вид дает твоя мечта;  
Коснися облака нетрепетной рукою –  
Исчезнет; а за ним опять перед тобою  
Обители духов откроются врата.*

Нет, дохристианский мир не знал такой благодатной «заочности». «В доме Отца Моего обителей много!» – невольно приходят на ум слова из Евангелия (Ин. 14, 2). Если «в сладостной тени невянувших дубров, / У нескудеющих ручьев» можно встретить тень давно почившего в Бозе отца, значит... смерти нет?! Память смертная, осознание того, что ты – недолгий гость на земле и должен сделать из этого неотложные выводы, сильна и у авторов Ветхого Завета. В Псалтири слышна и другая нота: Псалмопевец молит о самом сокровенном, чае бессмертия: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни...» (Пс. 15, 10-11).

Но только в Новом Завете обещается победа вечной жизни над силами распада и разложения.

Можно сказать, что в стихах Боратынского эта уверенность вы-



ражена в целомудренной форме надежды. Да и может ли смертный без муки сомнения утверждать то, что открыто одному Вышнему?!

В душе поэта идет спор, вечный спор, знакомый каждому из нас. Бессмертна ли душа наша? Ждет ли нас что-нибудь за гробом или уже ничего? В «Отрывке» (в прежние издания он не входил – так пеклись о нашем материалистическом мировоззрении идеологи-невидимки) спорят два голоса, мужской и женский, он и она. Думать, что это всенепременно поэт и его дражайшая половина Анастасия Львовна, урожденная Энгельгардт, наивно. Скорее оппонируют друг другу мужское и женское начало в душе поэта, скептик и оптимист, новый Екклесиаст и христианин.

Он

*...сегодня зреньё  
Пленяет свет веселый дня...  
..А завтра... завтра... как ужасно!  
Мертвец незрячий и глухой,  
Мертвец холодный!.. Луч дневной  
В глаза ударит мне напрасно!  
.....*

Она

*Что же, милый?  
Есть бытие и за могилой,  
Нам обещал его Творец.*

Та же альтернатива – в стихах «На смерть Гете». Если... Если... Великий немецкий поэт умер 22 марта 1832 года. Уже в мае, в письме к другу, Боратынский сообщил, что в последнее время писал «мелкие пьесы» и одной, на смерть Гете, «более доволен, чем другими». Подытоживая титанические труды немецкого поэта и ученого, он употребляет уже знакомое нам слово – «испытан»: «Изведен, испытан им весь человек!» Далее идут столь важные для нашей темы строки:

*... И ежели жизнью земною  
Творец ограничил летучий наш век,  
И нас за могильной доскою,  
За миром явлений, не ждет ничего, –  
Творца оправдает могила его.*

«Что ни век, то век железный», – распеваем мы вслед за популярным дуэтом Татьяны и Сергея Никитиных романс на слова Кушнера. Это он Боратынского повторил, разумеется, в новом качестве.

Прав был Евгений Абрамович, может быть, несколько неожиданно назвав «железным» свой, такой благополучный, по нашему непросвещенному мнению, XIX век. Ведь все вирусы большого века двадцатого уже резвились в его благодатной среде. А раз «век шестствует путем своим железным», то и его железные воззрения на все, вплоть до таинства смерти, не могут сбрасываться со счетов чутким мыслителем. Но эта мнимая уступка деизму<sup>13</sup> (Творец-то признается!) только утучняет почву для финала стиха:

*И если загробная жизнь нам дана,  
Он, здешней вполне отдышавший  
И в звучных, глубоких отзывах сполна  
Все должное долгу отдавший,  
К Предвечному легкой душой возлетит,  
И в Небе земное его не смутит.*

Как удивительна последняя строка! Не хочет ли поэт сказать, что между земным и небесным, между дольным и горним, нет непроходимой грани? На небесных пажитях мы увидим то, что посеяли на земле, часто кое-как, неряшливо, неразумно, не думая, что придется когда-нибудь собирать невеселый урожай. Да, такое может смутить кого угодно, но только не свершившего блистательно свой земной путь Гете!

Увы, столь высокий удел ждет не все души... Загадочный «Недоносок» толкуют по-разному. Одни видят в нем чистую аллегорию, сеговования человека и гражданина, выпавшего из своего времени. Другие (и такая точка зрения мне гораздо ближе) не боятся заглянуть за грань, вторгнуться в заповедную область религии. По Боратынскому, недоплощённое земное создание, недочеловек, осознающий, что он жил как не жил и вот уже волей рока скоротечно выбыл из жизни, неразвитое семя духа, выброшенное, подобно недоноску, в инопространство, не в силах воспользоваться свободой и другими благами, что предоставляет вечность.

*Отбыл он без бытия:  
Роковая скоротечность!  
В тягость роскошь мне твоя,  
О бессмысленная вечность!*

Даже вечность для него бессмысленна! Цензор-догматик обиделся за «вечность», не уловив парящей мысли поэта, и принудил его к

---

<sup>13</sup> Учение, признающее Бога как Создателя, но отрицающее его дальнейшее вмешательство в дела Творения.

уплощающей смысл правке: «В тягость твой простор, о вечность!»

«Недоносок» написан от первого лица. Мы можем только гадать, был ли то поэтический прием? Или страх перед собственным посмертным уделом? Его моделирование? Его предвосхищение?.. Поэту оставалось жить еще девять лет!

«Смерть моего незабвенного Ангела – Евгения...» – обронил в частном письме сослуживец поэта. Не припомню, чтобы еще хоть один выдающийся лирик удостоился такого уподобления.

Сам Евгений Абрамович судил о себе иначе. В стихах к жене, созданных незадолго до смерти, он писал: «Ты, смелая и кроткая со мною/ В мой дикий ад сошла рука с рукою...»

Нет, ангелы в аду не водятся. Разве что темные духи? Продолжим, однако, цитату:

*Рай зрела в нем чудесная любовь...*

Одному-единственному чувству в мире возможно переделать ад в рай. Любви. Полемизируя с не названным в стихах Декартом, Боратынский воскликнул когда-то: «Нет! любишь ты, и потому/ Ты существуешь, – я пойму/ Скорее истину такую».

Итак, любовь для него сильнее философии, а ведь по общему мнению он поэт-философ, поэт-мыслитель. Какова же должна быть мощь его любви, чтобы перевесить силу мысли!

В стихотворении «Своенравное прозвание...» Боратынский писал, имея в виду то интимное имя, которое дал при жизни любимой женщине:

*Но в том мире, за могилой,  
Где нет образов, где нет  
Для узнанья, друг мой милый,  
Здесь чувственных примет,  
Им бессмертье я привечу,  
К безднам им воскликну я,  
Да душе моей навстречу  
Полетит душа твоя.*

Любовь, перешедшая «страстное земное», на языке нашей культуры, – это христианская любовь. Она – залог полнокровного существования здесь. И надежда на бессмертие в том мире, где «нет образов». По слову поэта: в мире заочном.

## БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

### «Покров, накинутый над бездной»

(Ф. Тютчев)

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,  
И человек отчаянно тоскует...  
Он к свету рвется из ночной тени  
И, свет обретши, ропщет и бунтует,  
Безверием палим и иссушен,  
Невыносимое он днесь выносит...  
И сознает свою погибель он,  
И жаждет веры... но о ней не просит...  
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,  
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:  
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!  
Приди на помощь моему неверью !..»*

Стихотворение «Наш век» написано Тютчевым в 1851 году. Мы почему-то думаем, что безверие мыслящих слоев нашего отечества – болезнь более позднего времени. Относим ее чуть ли не к концу 19-го – началу 20-го века. Кое-кто предполагает уже совершенно нелепое: с христианской верой в русском обществе было покончено после 17-го года путем жесточайших репрессий. Нет, это не так. Диагноз «безверия», поставленный великим поэтом своему кругу и прежде всего самому себе, оказался провидческим, распространился на все слои населения, ибо рыба портится с головы.

Поэт тем и велик, что видит сквозь пелену временного. Пророчествует. Предостерегает. Отягощенный опытом веков минувших и предчувствием грядущих катаклизмов, горит, как свеча с обоих концов, а мы еще удивляемся, что срок поэта на земле отмерен скупом.

Для нас существенно, что последние две строки «Нашего века» перекликаются с Евангелием от Марка (9, 24). Вот это место:

«Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. Где ни схватывает его, повергает его на землю и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепене-

ет (...) Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию».

Обратим внимание на странное определение: «дух немой». Судя по тому воздействию, которое он оказывает на отрока, – это злой дух. Кому, как не Христу, дана власть над злыми духами?! Но даже Он, как следует из приведенной цитаты, нуждается во встречной вере того, кому хочет помочь...

Далее в Евангелии Христос говорит: «... дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Чудо свершается. «Сильно сотрясаши» юношу, злой дух покидает свою жертву. Юноша становится «как мертвый». «Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал» (Мк. 9, 26-27).

Безгранична мощь веры!

Эта евангельская притча отозвалась в одном из тютчевских ошеломительных образов (стихотворение «Ночное небо так угрюмо...»).

*Одни зарницы огневые,  
Воспламеняясь чередой,  
Как демоны глухонемые,  
Ведут беседу меж собой.*

Спустя много десятилетий другой русский поэт, Максимилиан Волошин, подхватит этот образ и назовет «Демоны глухонемые» одну из своих трагических книг о революции. Чудные круги делает высокая поэзия!

Вспомним стихотворение Пушкина о том же самом: о мучении – неотвязной тени осознанного личностью безверия. Но те стихи писал мальчик-лицеист. Все у него было впереди: и падения, и ушибы от падений, и медленное выпрямление души, угадавшей высокий замысел Творца о себе.

«Наш век» написан Тютчевым под пятьдесят. Судьба его была исключительна по насыщенности событиями. К моменту создания стихов более двадцати лет он провел за границей – не в приятной праздности и не по причине романтической прикованности к предмету своей страсти... «Чиновник при дипломатической миссии» – это звучало бы приговором для свободного художника, если бы служба забирала его целиком. К счастью, этого не было. Выпускник Московского университета, он за границей много занимался самообразованием. Следил за европейской литературой. Естественно вошел в культурную атмосферу Мюнхена, духовного средоточия Германии. Он общался с выдающимися умами своего времени: философом Шеллингом, Генрихом Гейне. «Это весьма выдающийся, очень образованный человек, с которым всегда приятно беседовать», – передает современ-

ник мнение властителя дум Шеллинга о молодом Тютчеве. Долго ли, коротко ли, но Федор Иванович побывал в Дрездене, Турине, Генуе, во многих городах Швейцарии, Франции. Да где он только не был! Точно в него вселился дух пращура-итальянца, спутника Марко Поло... Вообразим лазурную ночь Рима или женеvское озеро с плывущим по глади вод лебедем... Он созерцал красоту постоянно: обе жены, немки по происхождению, красавицы. Черно-белое воспроизведение их портретов в книгах и само по себе волнует, и таит нераскрытое: каковы же они в красках!

Вернувшись в Россию, Тютчев был своим человеком при дворе, имел репутацию «льва», остряка, «прелестного говоруна». Он возглавлял Комитет цензуры иностранной литературы, от него в немалой степени зависело просвещение русской читающей публики... И вдруг – сознание такой опустошенности, такого ничем неисцелимого внутреннего недуга!

«Его безверие – наша вера!» – хочется мрачно пошутить, пробежав мысленным взором некоторые узловые моменты жизни Федора Ивановича, восстановив в памяти его стихи, напоенные евангельскими и ветхозаветными образами. «Внутренняя» человека (это слово в духовной литературе обозначает наш душевный мир) формируется в юности. Вот пятнадцатилетний Тютчев в Кремле, в келье Чудова монастыря, «тихой и смиренной», беседует с Василием Андреевичем Жуковским, первым поэтом последержавинского времени, христианнейшим из писателей России. Нет сомнения в содержании этой беседы, возвышенном и богодухновенном, а оно «всю жизнь так верно провожало» его.

Вот двумя годами позже в подмосковном Троицком он вместе с ровесником, будущим известным литератором, пускается в рассуждения «о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом...» (из дневника М. П. Погодина). А вот и первый «богоборческий» мотив у Тютчева-поэта:

*«Не дай нам духу празднословья!»  
Итак, от нынешнего дня  
Ты в силу нашего условия  
Молитв не требуй от меня.*

Можно только снисходительно пожать плечами, узнав, что эта стихотворная шутка юноши была напечатана впервые примерно через 40 лет (!), в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (!), в Лондоне (!). Ах, сберегали, сберегали невинность христоролюбивого народа господа цензоры, а главного насильника проглядели. Растлевающийся дух!..

«Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне...» – автор уже вспомнятнотой нами молитвы Ефрем Сирин, конечно, не знал, что пятнадцать веков спустя один из Тютчевых (так именовался родоначальник) изящно подшутит над ним...

Несколько слов о молитве вообще. Как известно. Христос дал своим ученикам одну молитву: «Отче наш» (Мф. 6, 9–13). Ее знают почти все, но, произнося первый стих по-старославянски, часто делают ошибку: «Иже еси на небеси...» Надо: «на небесех», т.е. «на небесах», во множественном числе... Но всегда ли мы внемлем наказу Христа: «молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны...» ( Мф. 6 – 7).

Так что автор «крамольного» четверостишия был не так уж неправ...

Евангельские мотивы в стихах Тютчева встречаются не раз. И не всегда требуют ссылок на первоисточник, потому что он дает не поэтические параллели – он мыслит библейскими образами. Однако в некоторых случаях «расшифровка» позволяет глубже воспринять его многомерные сравнения, метафоры и прочее.

Удивительно емкое стихотворение «О вещая душа моя...» становится еще объемнее, когда постигаешь по-настоящему его концовку:

*О вещая душа моя,  
О сердце, полное тревоги –  
О, как ты бьешься на пороге  
Как бы двойного бытия!..  
Так ты – жилища двух миров,  
Твой день – болезненный и страстный,  
Твой сон – пророчески-неясный,  
Как откровение духов...  
Пускай страдальческую грудь  
Волнуют страсти роковые –  
Душа готова, как Мария,  
К ногам Христа навек прильнуть.*

В Евангелии от Луки (10, 38) упомянута Марфа, пригласившая Христа «в дом свой». Дальше по тексту: «У ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедши сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.

Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом.

А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (39–42)

Мне приходилось слышать, как этими словами нерадивые хозяйки прикрывают свою лень, оправдывают свое иное предназначение – выше ложек и плошек. В стихах речь, действительно, идет о высшем, но в другом смысле. «Вещая» душа поэта посылает нам весть: мирские страсти сродни болезни (вспомним, что «страсть» и «страдание» – слова однокоренные), сны (мечты, иллюзии) – чаще всего самообман. Остается одно, «единое на потребу». В стихах это выражено недвусмысленно и просто. Прильнуть к ногам Христа – не это ли высшее предназначение души человеческой?

О тютчевском «двойном бытии», двоemiрии мы поговорим отдельно. А сейчас небольшой экскурс в недавнее прошлое...

Для Тютчева, впитавшего живительные соки Писания в самые ранние годы, славянофила, поэта в политике и философии, Россия и православие были неразрывны. Он даже видел Россию во главе будущей «всеславянской» империи, разумеется христианской, православной, – много он не допускал. Поэтому самые патриотические его стихи одновременно и самые религиозные... Нелегко приходилось атеистам–пропагандистам на Брянщине, откуда поэт родом и где волею судеб дважды довелось мне побывать на тютчевских праздниках. Одни строки, освященные великим именем, годились для художественной пропаганды, кропили живой водой вялые идейные клише. Другие – не лезли ни в какие ворота. Тогда, в 70-х – начале 80-х годов, не раз приходилось видеть на столбиках и памятных листовках хитроумно усеченные поэтические тексты. Сотни паломников читают:

*Над этой темною толпой  
Непробужденного народа  
Взойдешь ли ты когда, свобода,  
Блеснет ли луч твой золотой?..  
Блеснет твой луч и оживит,  
И сон разгонит и туманы...*

Тут – конец цитаты. Подразумевалось, что луч уже блеснул, уже оживил – и это луч Октября. Праздники-то литературные проводил обком КПСС. И только посвященным память подсказывала заключительное: «Но старые, гнилые раны,/ Рубцы насилий и обид,/ Рас-тление душ и пустота,/ Что гложет ум и в сердце ноет, –/ Кто их изле-чит, кто прикроет?../ Ты, риза чистая Христа...»

Подобная же операция производилась и над другим известным стихотворением: «Эти бедные селенья...» Там срезанной оказывалась последняя строфа:

*Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,*



*В рабском виде Царь небесный  
Исходил, благословляя.*

А в нем такая сладкая боль, такая безнадежная надежда! Осуждая брянских цензоров Тютчева, я вовсе не имела в виду местных энтузиастов, которые и в родном его Овстуге, и в областном центре чтли и чтут его память, устраивают выставки, содержат музей... Впрочем, и бывшие цензоры теперь наверняка перестроились, отсекают от земляка иные части или не отсекают ничего. Вы только подумайте: религию разрешили, Христа разрешили, и многим даже скучно стало, оттого что только запретный плод сладок. Кое-кто к тому же считает: двухтысячелетнее христианство устарело. Какое отношение имеет оно к современности?

Самое непосредственное.

Мать потеряла сына, – он ушел во цвете лет. Можно ли отыскать слова утешения? Поэт их находит, но они действенны только в свете веры: «Все решено, и он спокоен, / Он, претерпевший до конца, – / Знать, он пред Богом был достоин / Другого, лучшего венца (...) Но между ним и между нами / Есть связи естества сильней: / Со всеми русскими сердцами / Теперь он молится о ней, – / О ней, чью горечь испытанья / Поймет, измерит только Та, / Кто, освятив собой страда- нья, / Стояла, плача у креста...» Когда мы читаем эти строки, мы можем и не знать, что стихи обращены к царице, жене Александра II. Мы видим на ее месте, рядом с Богородицей, нынешних солдатских матерей, которым остается одно упование – на Бога.

О славянофильстве Тютчева я уже говорила. Можно соглашаться или не соглашаться с Тургеневым, писавшим Фету после смерти Федора Ивановича: «Глубоко сожалею о Тютчеве; он был славяно- фил, но не в своих стихах, а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны...» Но нельзя в наше время бурь и потрясений не прислу- шаться к словам самого поэта, вместившего в четыре строчки два по- лемических и, как видно, вечных взгляда на достижение обществен- ной гармонии:

*«Единство, – возвестил оракул наших дней –  
Быть может спаяно железом лишь и кровью...  
Но мы попробуем спаять его любовью, –  
– А там увидим, что прочней...»*

«Оракул наших дней» – это Бисмарк. Стихи написаны в 1870 году, во время франко-прусской войны, и прочитаны на празднестве по случаю перехода в православие группы чехов.

Но их христианнейший смысл, пробивая временные и племен- ные преграды, конечно же, восходит к Евангелию. Тут уместно будет

вспомнить и Христово завещание ученикам Его: «да любите друг друга; как Я возлюбил вас...» (Ин. 13, 34), и Христову молитву за оставляемых учеников, что произнес он на Тайной Вечере; «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Ин. 17, 21), и неслыханные в древнем мире, как, впрочем, и в куда более поздние времена, вплоть до сего дня, слова Христа об отношении к врагам: «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, Благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6, 27-28). Оговорюсь сразу: сам поэт врагам не благотворил, отнюдь, однако в стихах своих он часто ближе ко Христу, чем в житейском поведении.

Все приведенные мной выше цитаты – из Нового Завета, но и Ветхий Завет притягивает Тютчева (недаром его называли «московским Исайей!»), волнует своей бездонной глубиной, своими предначертаниями грядущего.

*Вот царство русское... и не прейдет вовек,  
Как то провидел Дух и Даниил предрек –*

так заканчивается стихотворение «Русская география».

Что же предрек, по Тютчеву, ветхозаветный пророк нашей Родине, о которой он знать не знал, ведать не ведал? В Книге Даниила (2, 44) речь идет о «царствах будущего», когда «Бог Небесный воздвигнет царство, которое веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Понимаю, что прогноз этот не всем по вкусу (и мне – тоже), но стыдливо сокращать библейский текст в комментарии, как это недавно еще делалось, – не значит ли исказить взгляды поэта?

В 1865 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти М. В. Ломоносова. Федор Иванович откликнулся на это событие стихотворением («Он, умирая, сомневался...»). Две строки из него могли бы служить эпитафией не только адресату, но и автору. Они великопны: «Но Бог недаром в нем сказался –/Бог верен избранным своим». Для нас особенно интересно заключительное восьмистишие:

*Да, велико его значенье –  
Он, верный Русскому уму,  
Завоевал нам Просвещение,  
Не нас поработил ему, –  
Как тот борец ветхозаветный,  
Который с Силой неземной  
Боролся до звезды рассветной  
И устоял в борьбе ночной.*

В Книге Бытия (32, 24 – 29) находим стихи, проливающие свет на эту загадочную сцену:

«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари;

И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.

И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.

И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.

И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.

Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там.»

Два коротких разъяснения. Иаков – один из древнееврейских патриархов. Народное истолкование слова «Израиль» – «он боролся с Богом» (Словарь библейского богословия). Итак, поэт уподобляет просветителя России патриарху израильского народа. Иаков вышел из борьбы с «силой неземной» с поврежденным бедром, хромым. Ломоносов умирал, «зловещей думою томим», мучимый сомнениями. Не следует ли из этого, что просвещение, свет, добро («завоевал нам просвещение», – стало быть, оно во благо) даром не даются, требуют борьбы, влекут за собой неизбежные жертвы? Вспомним страшную судьбу Прометея, давшего людям огонь!

Ветхозаветная точка зрения смыкается с античной.

Обе явно созвучны мятежному духу «московского Исаяи»... «Эллинское, дохристиано чувство Рока» прозревало у Тютчева Александр Блок. Он же высоко ставил и очень любил тютчевское стихотворение «Два голоса»:

## I

*Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!  
Над вами светила молчат в вышине,  
Под вами могилы – молчат и оне.  
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:  
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;  
Тревога и труд лишь для смертных сердец...  
Для них нет победы, для них есть конец.*

## II

*Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,  
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!*

*Над вами безмолвные звездные круги,  
Под вами немые, глухие гроба.  
Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Первый голос, несомненно, заглушается вторым, еще более суровым, но и более проникновенным, при всем своем стоицизме. Не правда ли, пафос борьбы до победы, вырванный с мукой «победный венец», который скорее зачтется на небесах, чем на земле, – напоминают нам о подвиге Иакова? Только патриарх удачливее обыкновенных «смертных сердец»: отделался увечьем, а не пал, ратуя... Есть и коренное различие. Там речь шла о Боге, тут – о богах, олимпийцах, всеблагих, – короче, о всех тех, кто пишется со строчной, а не с прописной буквы. Мы так долго снижали в печатных изданиях имя Господа, что теперь готовы поднять всякую нежить, вплоть до русалок и водяных. Делать этого не надо. Античные божества пишутся с большой буквы, когда называются их имена: Марс, Венера. В остальных случаях – заглавная буква маленькая.

Говоря об античности и всеблагих, не могу не остановиться, хотя бы мимоходом, на известнейшем стихотворении Тютчева «Цицерон». Обычно из него помнят лишь четыре, от силы восемь строк:

*Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.  
Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был –  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил!*

Сначала поэт вместо «счастлив» поставил «блажен». Многие так и читают наизусть, и мне это больше нравится, еще и потому, что перекликается с «заповедями блаженства», данными Христом в Нагорной проповеди (Мф. 5, 3 – 11). Но в окончательном варианте – «счастлив». Может быть, автора смутило житейское значение слова «блаженный»: не вполне нормальный, не в себе? А может быть, прекрасно ориентируясь в обеих средах, античной и христианской, он не захотел их смешивать?..

По мнению исследователей, стихотворение «Цицерон» – прямой отклик на Июльскую революцию 1830 г. во Франции. Тютчев отнесся к ней резко отрицательно. Для него всякое насильственное свержение за-

конной власти или попытка такового были неприемлемы... Чем же так захватывают эти зацитированные, многожды перелицованные – всякий раз на новый лад – строки? По времени написания они предшествуют «Двум голосам», по настрою – превосходят их. Они утверждают – в обход Рока – богочеловеческое предназначение «смертных сердец». Пусть богословы разбираются, хорошо это или плохо. Я как читатель благодарна поэту за столь высокую и чистую ноту.

В стихотворении «Silentium» («Молчание») античное (латинское) только название. Первые две строчки знают все, – настолько часто их берут напрокат, по делу и без дела.

*Молчи, скрывайся и тай  
И чувства и мечты свои –  
Пуškai в душевной глубине  
Встают и заходят оне  
Безмолвно, как звезды в ночи, –  
Любуйся ими – и молчи.  
Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи, –  
Питайся ими – и молчи...*

Редко кого из великих творцов переписывали другие – поэты, прозаики, редакторы, какая разница! С Тютчевым это случилось; своевольная правка была внесена именно в «Молчание!» В процессе правки (тут приложил руку сам И. С. Тургенев) неблагозвучные строки – в нашем отрывке IV и V были заменены гладкими... Но почему же блестящий стихослагатель, далеко не новичок в поэзии, написал столь коряво, как будто нарочито сбиваясь с ритмического шага? Вывод напрашивается один: так, а не иначе слышал он внутренним слухом? Как слышал – так и передал?..

В том же 1830 году, когда написано «Silentium», Федор Иванович создает куда менее известные стихи: «Через ливонские я проезжал поля...» Средневековая Ливония – это нынешние Латвия и Эстония. По пути из Петербурга за границу поэт вспоминает «о былом печальной сей земли – / Кровавую и мрачную ту пору, / Когда сыны ее, простертые в пыли, / Лобзали рыцарскую шпору». Рядом с ним один собеседник, один свидетель былого – природа, а какая она в неяркой Ливонии? «Пустынная река...» «Прибрежная дуброва...»

Стихи заканчиваются загадочно:

*Но твой, природа, мир о днях былых молчит  
С улыбкою двусмысленной и тайной, –*

*Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,  
Про них и днем молчание хранит.*

Комментаторы предполагают, что тютчевский «отрок» – это будущий судья (царь) Самуил из Ветхого Завета, вымоленное у небес бесплодной матерью дитя, в благодарность посвященное Господу. Обратившись к первоисточнику, находим, что древнееврейский царь-прорицатель ребенком слышал скорбные пророчества посещавшего его по ночам Бога и долго не смел передать их своему духовному наставнику. (I Книга Царств, 3)

Значит, молчание природы, как и молчание посвященного человека, – вынужденная мера? Слишком страшна жизнь, чтобы откровение о ней доверять кому бы то ни было... Но, хотя «природа – сфинкс», иногда ей дано утешить нас, потому что «В ней есть душа, в ней есть свобода,/ В ней есть любовь, в ней есть язык».

Кто, как не Тютчев, постиг душу природы?! Вспомним знакомое с детства: «Зима недаром злится...», «Люблю грозу в начале мая...», «Есть в осени первоначальной...» Каждый знает хоть несколько строчек наизусть и потому льстит себя надеждой, что пейзажная лирика поэта перед ним как на ладони. Между тем в ней-то и скрыта одна из тютчевских тайн. Нам не дано проникнуть в тончайший механизм его ассоциаций, до конца уяснить устройство того серебряного шнура, который он полагает между миром вещественным и нематериальным. Порой мы принимаем за чистую монету какой-нибудь лирический этюд, – и вдруг оказывается, что это только рисунок на занавесе, а за ним приоткрывается нечто непостижимое, пугающее своей абсолютной независимостью от человека.

*Как сладко дремлет сад темно-зеленый,  
Обвятый негой ночи голубой!  
Сквозь яблони, цветами убеленной,  
Как сладко светит месяц золотой!..  
Таинственно, как в первый день созданья,  
В бездонном небе звездный сонм горит,  
Музыки дальней слышны восклицанья,  
Соседний ключ слышнее говорит...  
На мир дневной спустилася завеса,  
Изнемогло движенье, труд уснул...  
Над спящим градом, как в вершинах леса,  
Проснулся чудный еженощный гул...  
Откуда он, сей гул непостижимый?..  
Иль смертных дум, освобожденных сном,  
Мир бестелесный, слышный, но незримый,  
Теперь роится в хаосе ночном?..*

Эта оглядка на «первый день создания» опять возвращает нас к Библии, с которой наши пути надолго не расходятся.

Тончайший исследователь русского стиха, недавно почивший Лев Озеров, в своей несколько не устаревшей книге «Поэзия Тютчева» (М. Худ. лит. 1975) отгалкивается именно от этого стихотворения, чтобы сказать о темах хаоса и сна, неба и бездны, пронизывающих все его творчество. Действительно, хаос у него «проступает как изначальная стихия бытия», а небо – «голубая воздушная бездна с ударением на слове «бездна».

Античный хаос отождествляется с ночью. То же у поэта: ночь – разоблачение хаоса, с нее сорван «златотканый» покров дня, при свете которого возможно «души болящей исцеленье». Другое дело – бездна. Она может быть не только «роковой», но и «мировтворной».

В задачу Л. Озерова не входит сопоставление стихотворного опыта Тютчева с Книгой книг; нам же естественно продолжить его наблюдение.

Кажется, первым в нашей поэзии громогласно произнес слово «бездна» Михайло Ломоносов: «Открылась бездна, звезд полна./ Звездам числа нет, бездне – дна». Бездна часто встречается в Библии, особенно в Псалтири. Интересно, что всемирный хаос в первой главе Бытия обозначен словами «тьма над бездною».

Перелистаем Псалтирь. «Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая» (35, 7), «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» (41, 8), «напоил их, как из великой бездны» (77, 15), «бездною, как одеянием, покрыл Ты ее» (103, 6), «Господь творит во всех безднах» (134, 6), «хвалите Господа, все бездны» (148, 7). Так пишет Псалмопевец.

Несколько примеров из Тютчева: «В ночи греха, на дне ужасной бездны,/ Сей чистый огонь, как пламень адский жжет», человек у него, «как сирота бездомный», «В душе своей, как в бездне погружен». Поэт идет еще дальше: «Кто смеет молвить: до свиданья!/ Чрез бездну двух или трех дней?»

И вообще «внешний мир» – «Покров, накиннутый над бездной...»

Не надо искать буквальных совпадений – поэтический дух, масштабность представления и переживания и тут, и там сродственны.

А вот и скрытая полемика с Псалмопевцем и еще более с Евангелием, считающим Христа «первенцем из мертвых». По новозаветному обетованию, все мы пойдем Его путем, то есть получим жизнь вечную. Не то у Тютчева:

*Все вместе – малые, большие,  
Утратив прежний образ свой,  
Все – безразличны, как стихия, –  
Сольются с бездной роковой...*

*О, нашей мысли обольщенье,  
Ты, человеческое Я!  
Не таково ль твое значенье,  
Не такова ль судьба твоя?*

Однако можно найти у поэта и совершенно другие стихи, например, «Памяти М. К. Политковской», где прямо-таки утверждается бессмертие души, а стало быть, и существование мира иного.

*В наш век отчаянных сомнений,  
В наш век, неверием больной,  
Когда все гуще сходят тени  
На одичалый мир земной, —  
О, если в страшном раздвоенье,  
В котором жить нам суждено,  
Еще одно есть откровенье,  
Есть уцелевшее звено  
С великой тайною загробной,  
Так это — видим, верим мы —  
Исход души, тебе подобной,  
Ее исход из нашей тьмы.*

Мало того, оказывается «мир иной» незримо окружает каждого из нас, — чтобы увидеть его, надо только открыть внутренние очи.

*Мы видим: с голубого свода  
Нездешним светом веет нам,  
Другую видим мы природу,  
И без заката, без восходу  
Другое солнце светит там...  
Все лучше там, светлее, шире,  
Так от земного далеко...  
Так розно с тем, что в нашем мире, —  
И в чистом пламенном эфире  
Душе так родственно-легко...*

Поэт изначально принадлежит двум мирам: миру грубо материальному и миру неосозаемому, астральному, но такому же несомненному для него, как данная в привычных ощущениях реальность.

С религиозной точки зрения, оба мира созданы Господом. В христианском Символе веры говорится: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...» Мало кто из русских поэтов с такой убедительностью живописал сре-



достение между миром видимым и невидимым, как полнокровный, преданный злобе дня, до гроба живший политическими и любовными страстями Федор Иванович.

*Как дымный столб светлеет в вышине! –  
Как тень внизу скользит неуловима!..  
«Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, –  
Не светлый дым, блестящий при луне,  
А эта тень, бегущая от дыма...»*

О двоemiрии поэта писали много. Двоemiрие и «как бы двойное бытие», на пороге которого, как мы помним, бьется его «вещая душа», – понятия близкие, но это не одно и то же. Если свойственное ему ощущение двоemiрия особо выделяет Тютчева даже среди первоклассных поэтов, то двойственность бытия, настоящая или кажущаяся (не случайно же это «как бы») погружает его в глубины без дна. Да, он – избранник богов, но какой ценой! Вера и безверие, разум и безумие, гармония и хаос – все это равноценные составляющие жизни поэта. Вмещающая в себя несовместимое, он чувствует разлад с самим собой и не меньше, чем веры, жаждет цельности. В стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» Тютчев пишет о «целом духе» как о Божественном даре.

*В нем не было ни лжи, ни раздвоенья –  
Он все в себе мирил и совмещал..  
Поистине, как голубь, чист и цел  
Он духом был; хоть мудрости змеиной  
Не презирал, понять ее умел,  
Но веял в нем дух чисто голубиный.*

Тут непосредственная перекличка со словами Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»: (Мф. 10, 16).

Естественна после этого и евангельская концовка стихотворения: «Поймет ли мир, оценит ли его?/ Достойны ль мы священного залога?/ Иль не про нас сказало Божество:/ «Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!» Сравните с Нагорной проповедью: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Теперь, когда мы вернулись непосредственно к Евангелию, грех было бы не вспомнить «выпавшее» стараниями цензоров из многих изданий Тютчева стихотворение «При посылке Нового Завета». Горячий отец, в 1861 году поэт обратился с этими стихами к старшей дочери Анне, женщине незаурядной, оставившей потомкам свою книгу «При дворе двух императоров». Как ни ласкает слух верующей христианки, к каким смею себя причислить, концовка стиха: «Вот в эти-то часы с любовью/ О книге сей ты вспомяни –/ И всей душой, как к

изголовью,/ К ней припади и отдохни», – само послание кажется мне несколько умозрительным.

Другое дело – неожиданное для такого ортодоксального православного, каким всю жизнь оставался Федор Иванович, стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье...» Радует сам факт обращения к другой христианской конфессии, любовное уважение к чужому обряду. Преодолевая конфессиональную узость, поэт словно следует собственному призыву: «И жизни божеско-всемирной/ Хотя на миг причастен будь!» («Весна»).

*Я лютеран люблю богослуженье,  
Обряд их строгий, важный и простой –  
Сих голых стен, сей храмины пустой  
Понятно мне высокое ученье.  
Не видите ль? Собравшись в дорогу,  
В последний раз вам вера предстоит:  
Еще она не перешла порогу,  
Но дом ее уж пуст и гол стоит, –  
Еще она не перешла порогу,  
Еще за ней не затворилась дверь...  
Но час настал, пробил... молитесь Богу,  
В последний раз вы молитесь теперь.*

В стихах есть предчувствие какой-то роковой черты, предвосхищение грядущих катаклизмов. «Молитесь Богу,/ В последний раз вы молитесь теперь» – звучит очень знакомо. «Бодрствуйте и молитесь» – этот призыв мы найдем в Евангелии и у Матфея, и у Марка, и у Луки. «... Ибо не знаете, когда наступит это время», – говорит Евангелист (Мк. 13,33), имея в виду конец нашего эона, когда «Небо и земля прейдут...» (Мк. 13,31). Не то же ли эсхатологическое чувство питало Тютчева, когда он создавал свой четырехстрочный шедевр:

*Когда пробьет последний час природы,  
Состав частей разрушится земных;  
Все зримое опять покроют воды,  
И Божий лик изобразится в них!*

Стихотворение так и называется «Последний катаклизм».

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» – хочется словами Христа закончить извлечение из Марка. Тютчев, с его могучим духом и безграничными возможностями поэтического воображения, увидел это обетование воплощенным. И, если дано земному созданию космическое, планетарное зрение – взгляд вглубь, над и вне, – тут оно налицо.

## БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

### «Молись, страдай... – и выстрадай прощенье»

(М. Лермонтов)

До сих пор не утихают страсти вокруг Лермонтова. Спорят не об его поэтическом достоинстве. Что он – поэт Божьей милостью, великий поэт, непостижимо рано развившаяся личность, согласны, кажется, все. Дискутируют на другие темы: какому небесному воинству принадлежал его гений – темному или светлому. Что такое лермонтовский Демон и его многочисленные подобия в стихах и прозе, – дань литературной моде, прихоть возбужденной фантазии или же то, что называют «идэ фикс» – властное наваждение, от которого невозможно избавиться?

Вкус к подобным дискуссиям у нас проявился недавно. Но и в былые времена феномен автора поэмы «Демон» кое-кому не давал покоя. Например... членам царской семьи. В своей популярной книге «Судьба Лермонтова» (второе издание: М. «Худ. лит». 1986.) Эмма Герштейн достаточно подробно освещает этот вопрос. Вот насмешливо-ядовитый отзыв о поэме родного брата царя Михаила Павловича: «Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Только я никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли духа зла или же дух зла – Лермонтова».

Великий князь высказал вслух то, что у одних вертелось на кончике языка, у других возникало в виде расплывчатой мысли. И сделал это броско, лаконично, обнаружив недюжинный ум и культурную эрудицию. Известная истовой религиозностью императрица Александра Федоровна, признавая «сатанинские» искушения Лермонтова, видела залог спасения от них в таких стихах, как «Молитва».

Одна из прижизненных редакций поэмы о Демоне предназначалась автором для двора и прозвучала там в исполнении умелого чтеца, «что придавало еще большее очарование этой поэзии» (закавыченная фраза – из частной записки царицы). Значит, чуяли «духа зла», но хотели его приручить.

«Собаке – собачья смерть!» – сказал император при известии о

гибели поэта в разговоре со своей старшей сестрой. И получил немедленный отпор с ее стороны. В школе мы узнавали только слова императора, наша пропаганда радостно взяла их на вооружение. Оправдать такое нельзя, согласна, и все же попытаемся понять причину гнева самодержца. Причины личного недружелюбия царя к поэту нас в данном случае не интересуют. Куда любопытнее реакция Николая I на «Героя нашего времени»: «Таковыми романами портят нравы и ожесточают характер (...) Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности!...»

Царь, как сказочный дракон у клада, стоял на страже христианско-этических догм, желая, безусловно искренно, добра своему народу. У поэта же – своя судьба, свой рок, свои счеты с адом и раем, свои цели и устремления. Приношения поэтов, драгоценные, как дары волхвов, часто принимаются за дары данайцев.

Некрасивый, малорослый, хромой (упал с лошади), Мишель был неотразим. Рисуя его словесный портрет, мемуаристы отмечают прямо противоположные черты, взаимоисключающие состояния. Одни говорят о больших, выразительных «неподвижно-темных» глазах. Другие видят «щели, полные злости и ума». По словам современников, в нем соединились веселая общительность и мрачная сосредоточенность, бесшабашность с товарищами и образцовая изысканность манер в присутствии дам, подкупающая открытость и женское какое-то вероломство. Этакий позитив и негатив. Чем сложнее живые структуры, тем они многовариантнее, – об этом в частности, писал богослов и философ XX столетия Тейяр де Шарден.

В случае с Лермонтовым было и еще что-то, что, как отдаленный раскат грома, докатилось до нас через полтора века и до сих пор озадачивает пристальные умы. Через этого гвардейского офицера, чья служба на Кавказе состояла из «сплошных гонений», чья беспримерная храбрость, достойная золотого оружия, не увенчалась ничем, через этого поэта – «непрофессионала», ибо жизнь его протекала в сражениях и странствиях, в гостиных беспощадного света и маскарадах, похожих на сражения, – говорило Небо. Он рано услышал его звуки.

*По небу полуночи ангел летел  
И тихую песню он пел;  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.  
Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов;  
О Боге великом он пел, и хвала*

*Его непритворна была.  
Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался – без слов, но живой.  
И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.*

Была еще одна строфа, предпоследняя:

*Душа поселилась в творенье земном,  
Но чужд был ей мир. Об одном  
Она все мечтала, о звуках святых,  
Не помня значения их.*

Принято считать, что стихотворение «Ангел» навеяно воспоминаниями поэта о рано умершей матери, о ее песнях, петых ему во младенчестве. Но смысл этих строк неизмеримо шире. Семнадцатилетний Лермонтов словно вспоминает тот небесный ландшафт, который душа видит до рождения. Точно ли это стихи о душе самого поэта? А может, о всякой певческой душе? О душе человека вообще? Земля и небо, «и месяц, и звезды, и тучи толпой», «кущи райских садов», «безгрешные духи» – все влечет раскрыть I Книгу Библии Бытие и окунуться в доисторию человечества, когда «... сотворил Бог небо и землю (...) И стал свет». (1, 1–3).

Этот первозданный пейзаж, как бы вид из кабины космического корабля, летящего вне времени и пространства, никогда уже не покинет его поэзию. И, возможно, даст основания такому мистическому поэту и философу, как Дмитрий Мережковский, считать, что Лермонтов был наделен «опытом вечности» и стремился не от земли к небу, а от неба к земле.

«Звук песни», «звуки небес», «святые звуки» – все это душа теряет, когда поселится «в творенье земном». Прежде «скучных песен земли» ей еще предстоит услышать какофонию «диких звуков», отголосков природы, как об этом сказано в белом, не стесненном рифмами, тоже юношеском стихотворении «Ночь».

*Я зрел во сне, что будто умер я;  
Душа, не слыша на себе оков  
Телесных, рассмотреть могла б яснее  
Весь мир – но было ей не до того...  
И встретился мне светозарный ангел;*

*И так, сверкнувши взором, мне сказал:  
«Сын праха – ты грешил – и наказание  
Должно тебя постигнуть как других;  
Спустишь на землю – где твой труп  
Зарыт; ступай и там живи, и жди,  
Пока придет Спаситель – и молись...  
Молись – страдай... и выстрадай прощенье...»*

В стихотворении «Смерть», написанном чуть позже (хронологически «Ангел» – между ними), есть заимствования из «Ночи. I». Но здесь появляется новый мотив, как раз по интересующей нас теме:

*Вдруг предо мной в пространстве бесконечном  
С великим шумом развернулась книга  
Под неизвестною рукой. И много  
Написано в ней было. Но лишь мой  
Ужасный жребий ясно для меня  
Начертан был кровавыми словами...*

Занебесная книга, где записаны судьбы народов и личные судьбы, упомянута не только в Откровении Иоанна (10, 1-2, 9-11). Она перешла в Апокалипсис из Ветхого Завета (см. Книгу пророка Иезекииля. 2, 9-10, 3, 1-3). У тайновидца Иезекииля речь идет о богодухновенной Книге, которую ему, прежде чем пророчествовать, надлежит... съесть: «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней – книжный свиток. И Он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе». (...) И сказал мне: «сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед».

Перед своей безвременной кончиной, в стихотворении «Пророк», Лермонтов переосмыслит горько-сладкий дар всеведенья, врученный ему Вечным Судией...

Однако вернемся к последнему стихотворению.

*...Вдруг пред мной исчезла книга,  
И опустело небо голубое;  
Ни ангел, ни печальный демон ада  
Не рассекал крылом полей воздушных,  
Лишь тусклые планеты, пробегая,  
Едва кидали искру на пути...*

С лермонтовским «ангелом» мы уже знакомы. Предстоит поближе узнать «печального демона ада».

Восьмилетний Мишель в грозу увидел небольшое облако, похожее на «оторванный клочок черного плаща». «Оно быстро несло по небу». Запись, сделанная через годы, позволяет думать, что это воспоминание никогда не оставляло поэта. Некоторые исследователи связывают с ним начало внутренней работы над образом Демона.

Кто смотрел американский фильм «Дракула» (еще одно имя полупреда нечистой силы), должен был запомнить: натворив кучу бесчинств на земле, Дракула улетает на небо. Все уменьшается в глазах зрителей его черный плащ, пока не становится похожим на клочок облака. Обратный, так сказать, ход поэтической мысли.

Думаю, читателям небезынтересно будет узнать, что согласно ЛЭ<sup>14</sup>, слово «ангел» встречается у Лермонтова 164 раза. «Демон» – 110 раз. Бог – 589 раз! Многовато для «демонического» поэта...

Даже до тех, кто никогда не открывал Библии, древний миф о падшем ангеле, антипode Бога, долетел хотя бы в виде осколков – через другие книги, живопись, музыку. Что же поведало о силе, противостоящей Творцу, Священное Писание?

Ветхий Завет говорит о главном враге Творца весьма сдержанно. Само слово «сатана» происходит от «шатан». На библейском иврите оно означает противника. По-гречески «диавол» – клеветник. В Книге Бытие этот противник-клеветник назван «змеем». Вот какая характеристика дается ему в первом стихе третьей главы: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Как видим, это очень далеко от завораживающего образа Демона и его литературных собратьев. Все же не забудем, что именно змей подбил Адама и Еву отведать плодов с запретного райского дерева, чтобы они стали, «как боги, знающие добро и зло» (3, 5).

В Книге Иова на вопрос Господа «откуда ты пришел?» сатана отвечает многозначительно: «...я ходил по земле, и обошел ее» (1,7). Если помните, говоря о ломоносовском переложении Книги Иова, мы уже упоминали о сатане, который не верит в бескорыстную любовь человека к Богу и радуется несчастьям страдальца.

Есть в Библии мотивы, еще более близкие к интересующей нас теме. В Откровении Иоанна повествуется о войне на небесах, говорится о том, что «низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную...» (12, 9). Правда, это произойдет, по Апокалипсису, в конце времен.

В поисках источника лермонтовского демонизма исследователи обращались к 1-й Книге Царств, где в стихе 14-м шестнадцатой главы есть такие слова: «от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа», посланный царю за грехи. Лермонтов,

---

<sup>14</sup> Лермонтовская энциклопедия. Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1981.

считают специалисты, мог сопоставить его со своим «личным» демоном. Что ж, им виднее...

Еще в 1829 году Мишель написал стихотворение «Мой Демон» (вторая, зрелая редакция 1830-1831 гг.). Есть у этих стихов и другие источники, кроме Библии. И в первую очередь, пушкинский «Демон». Как я говорила в беседе о Пушкине, тот ненадолго поддался обольщениям «злобного гения». Нашел внутри себя противоядие от «астрального нападения» и Евгений Боратынский. Со свойственным ему изяществом говоря о «превратном гении», Евгений Абрамович не таит от нас своего оружия: «Он жар восторгов несогласных / Во мне питал и раздувал / Но соразмерностей прекрасных / В душе носил я идеал» (стихи 1831 года)

Не то у молодого Лермонтова:

1.

*Собранье зол его стихия;  
Носясь меж темных облаков,  
Он любит бури роковые  
И пену рек и шум дубров;  
Он любит пасмурные ночи,  
Туманы, бледную луну,  
Улыбки горькие и очи  
Безвестные слезам и сну.*

2.

*К ничтожным хладным толкам света  
Привык прислушиваться он,  
Ему смешны слова привета  
И всякий верящий смешон;  
Он чужд любви и сожаленья,  
Живет он пищею земной,  
Глотает жадно дым сраженья  
И пар от крови пролитой.*

.....

4.

*И гордый демон не отстанет,  
Пока живу я, от меня  
И ум мой озарять он станет  
Лучом чудесного огня;  
Покажет образ совершенства*



*И вдруг отнимет навсегда,  
И, дав предчувствия блаженства,  
Не даст мне счастья никогда.*

Поразительные стихи! Юноша 15-17 лет живет не иллюзиями молодости, как положено от века и как можно было бы предположить, зная его поглощенность творчеством, первенство в дружбе, успехи в учении, безумную любовь к нему богатой бабушки Елизаветы Алексеевны, ничего не жалевшей для единственного внука, а весь пребывает в некоем антимире, прямо указывая на присутствие виновника своего внутреннего неблагополучия в настоящем и рокового будущего. Мало того: он осознает, что «личный демон» приставлен к его душе не случайно. Ведь она забыла небесные звуки, обмирщилась и стала открыта для темных сил. Понятнее становятся слова из «Ночи. 1»: «Молись – страдай... – и выстрадай прощенье».

Конечно, все это можно счесть игрой воображения, просто игрой, объявить, что избалованный вниманием московских барышень, и не только их, Мишель интересничает. Друг юности и родственник поэта Аким Шан-Гирей так и писал: «Никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было ... все стихотворения Лермонтова в Москве... только детские шалости». Измен и лобзаний, возможно, и не было, а вот что до «мрачных мучений»... Нет, для игры все это слишком трагично, слишком навязчиво. Каждый судит о таких вещах в меру своей искушенности.

Стихотворение «Мой демон» можно назвать кратким конспектом, лихорадочным наброском знаменитой в будущем поэмы. Да и создавались они одновременно, первая редакция стиха и начальный вариант «Демона». Уже в нем, первом из восьми, дошедших до нас вариантов, есть всем памятная строка: «Печальный Демон, дух изгнания...» Это как бы камертон, по которому настраивается грандиозное произведение. Перо четырнадцатилетнего мальчика не всегда рождает ослепительные слова и образы, – кристаллизация впереди, – зато конфликт главного героя с Высшим Началом изложен более простодушно:

*Печальный Демон, дух изгнания,  
Блуждал под сводом голубым,  
И лучших дней воспоминанья  
Чредой теснились перед ним,  
Тех дней, когда он не был злым,  
Когда глядел на славу Бога,  
Не отвращаясь от Него;  
Когда сердечная тревога  
Чуждалась души его...*

«Собраньем зол», как в «Моем Демоне», должен был быть Демон и в поэме. Надлежало ему соблазнить монахиню, невесту Христову, что, ясное дело, акт богопротивный, богомерзкий. Да и в последующих редакциях «от зависти и ненависти» к ангелу-хранителю избранницы тот, кому не давала покоя «слава Бога», продолжал вынашивать черные замыслы. «Ты был любим и не любил.../ Ты б мог спастись, а погубил», – шепчет искусителю несчастная жертва.

Шли годы. Менялся сам поэт, менялось создание гения. Монахиню вытеснила прекрасная Тамара, и речь шла уже не о холодном соблазне, а о любви-страсти, о жаркой, но, увы, тщетной надежде героя через нее излечиться от мироотрицания, от противостояния всему существу:

*О! выслушай – из сожаленья!  
Меня добру и небесам  
Ты возвратить могла бы словом.  
Твоей любви святым покровом  
Одетый, я предстал бы там  
Как новый ангел в блеске новом...*

Если его мечте не суждено сбыться и он, как его библейский предтеча, на сердце «имеет рану от меча и жив» (Ин. 13, 9), то на тонком плане бытия происходит чудо: ангел уносит душу Тамары – чистой, незапятнанной, и уносит в «сиянье неба», в иные сферы. В жизнь вечную, хочется добавить. Оказывается, смерть не самое худшее, что может случиться со смертным на земле. Есть возлюбленные Богом души, «которых жизнь – одно мгновенье»:

*Творец из лучшего эфира  
Соткал живые струны их,  
Они не созданы для мира,  
И мир был создан не для них!  
Ценой жестокой искутила  
Она сомнения свои...  
Она страдала и любила –  
И рай открылся для любви!*

Да не та ли это «младая душа», какую, помните, ангел нес «для мира печали и слез»? Она выполнила на земле свое предназначение и, грешная, возвращена Небу безгрешной, а с ней, – такова природа лирической поэзии, – и частица души автора «Демона». Так, во всяком случае, можно истолковать эту, пожалуй, самую необозримую и таинственную «повесть», как определил ее Лермонтов, в русской литературе.

Вообще каждый находил в «Демоне» то, что искал. Белинский и его круг, борцы от рождения, – «с небом гордую вражду». Ницшеанцы – сверхсущество, почти сверхчеловека. Блок и символисты – «новую красоту»: фатальное блуждание души, созданной для «добра и света», в холоде и мраке нравственного опустошения. «Демон сидящий» и «Демон поверженный» – назовет свои картины брат Михаила Юрьевича по духу художник Михаил Врубель. Невозможно забыть этот планетарный пейзаж, эти заоблачные скалы, эту кристаллическую первооснову земного вещества и безнадежную фигуру колосса на переднем плане. Выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов в 1971 году создал сценарий «Демона», где молодой гусар (Лермонтов) пишет поэму пером... оброненным пролетевшей птицей. Там есть настоящие поэтические перлы, достойные оригинала.

«Кровавые следы на облаках, следы пораженного Демона» – дается подсказка постановщику. Жаль, что этот сценарий не был поставлен.

Услышать в поэме ноту преодоленного богоборчества, выстраданного приятия универсума и земли как, может быть, одного из атомов вселенной, дано далеко не каждому. Так, Ирина Роднянская, автор статьи о «Демоне» в ЛЭ, пишет: «...везде повествователь свидетельствует против губительного демонического своеволия, против смертоносной прививки демонического опыта и противопоставляет опозтизированной «муке демонизма» («Что люди? Что их жизнь и труд?.. / Моя ж печаль бессменно тут») поэзию доброжелательного обживания мира и сочувственной человечности». Заключение – чисто христианское и по сути, вероятно, справедливое, но уж очень не вяжутся с мятежным духом Лермонтова, – а «повествователь» он, – все эти «свидетельствует против», «противопоставляет опозтизированной муке...» У поэта прорыв к свету происходит как-то по-другому – через катарсис, через великую муку, граничащую с гибелью, и только поэтому мы ему верим.

Одному из вариантов «Демона» юный автор предпослал обескураживающее признание: «Как демон мой, я зла избранник». Наивно? Но зато откровенно. Зачем поправлять его?.. Сохранилось свидетельство недоброжелателя: «В своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки»... С этими словами вступает в некую игру переданное персонажу, не авторское, но очень лично звучащее в данном контексте: «Бог! Бог! во мне отныне к тебе нет ни любви, ни веры!» («Станный человек»).

Существует особый лермонтовский мир, со своим изрезанным вдоль и поперек рельефом, со своими туманными морями и свищущим ветром, со своим отчужденным от человека звездным небом, и, честно говоря, я не знаю, кто еще из русских поэтов, кроме автора «Демона», рискнул бы там поселиться. Много из того, чем болели и

от чего выздоравливали другие, приобретает у него характер хронического недуга.

Упование на гармонию и упорядоченность мироздания?

Вот ответ Лермонтова: «Друг мой! нет другого света... есть хаос... он поглощает племена... и мы в нем исчезнем... нет рая – нет ада... люди брошенные, бесприютные создания».

Благодатное воздействие веры? И это не более чем самоутешение: «Престолы природы, с которой как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает...»

Надежда на бессмертие души? Поэт не скрывал своих чаяний, столь знакомых христианскому обиходу: «Боюсь не смерти я, о нет!/ Боюсь исчезнуть совершенно»... Но если что-то и ждет нас за гробом, это дар не для всех. Начинаящий гений (странное словосочетание!) от него отказывается:

*Тому ль пускаться в бесконечность,  
Кого измучил краткий путь?  
Меня раздавит эта вечность,  
И страшно мне не отдохнуть!  
Я сохранил навек былое,  
И нет о будущем забот,  
Земля взяла свое земное,  
Она назад не отдает!..*

Земной «образ совершенства», воплощенный в женщине, как и было предсказано поэтом, от него ускользает. «Иль женщин уважать возможно./ Когда мне ангел изменил?» – не только упрек, адресованный Н.Ф.И., – это столкновение лоб в лоб «священного» с «порочным», от которого никуда не уйти; ключевое слово «ангел» поднимает эти стихи над всей юношеской лирикой.

Еще в 1831 году, «июня 11 дня» (название стихотворения составлено из числа, месяца и года) Лермонтов писал:

*Как часто силой мысли в краткий час  
Я жил века и жизньию иной,  
И о земле забывал. Не раз,  
Встревоженный печальною мечтой,  
Я плакал; но все образы мои,  
Предметы мнимой злобы иль любви,  
Не походили на существ земных.  
О нет! все было ад иль небо в них.*

Это настойчивое обращение к одним и тем же понятиям – зло, добро, ангел, демон, небо, ад – могло бы показаться хождением по

кругу, если бы поэт каждый раз не пристраивал к ним лестницу или тоннель в беспредельность.

«Кто близ небес, тот не сражен земным», – восклицает он, имея в виду вовсе не себя, раненного любовью, а уже знакомые нам вечные пейзажи: пустыни, «степей безбрежный океан», «вершины диких гор». Туда бы! Быть там, а не здесь...

Жажда бытия вопреки всему, кипящая мысль, тесноты собственной души, стремящейся в иные пределы, мужественное понимание, что «корень мук в себе самом, / И небо обвинить нельзя ни в чем», – все это уже есть в стихах шестнадцатилетнего юноши. Естественно, что окружение не понимало его. Одним он казался странным, другим – возмутительно дерзким и злым («мнимая злоба» – подчеркнуто в стихах). Оставалась единственная область свободы – творчество.

Молитва поэта – его стихи, и стихи эти недвусмысленны:

*Я жить хочу! хочу печали  
Любви и счастию назло;  
Они мой ум избаловали  
И слишком сгладили чело.  
Пора, пора насмешкам света  
Прогнать спокойствия туман;  
Что без страданий жизнь поэта?  
И что без бури океан?  
Он хочет жить ценою муки,  
Ценой томительных забот.  
Он покупает неба звуки,  
Он даром славы не берет.*

Нам уже известны эти мотивы: страданием выкупить у земли небесные звуки, отречься от вещественных благ ради высшего творческого блаженства. Если это молитва, то молитва наоборот. Не будем повторять поднадоевший эпитет: «демоническая». Но ведь и не божественная... Для нас привычнее другое. («Дай же Ты всем понемногу / И не забудь про меня!» – за всех нас попросил Булат Окуджава. Вот с ним мы солидарны...

Не будем упускать из виду, что автору «антимолитвы» нет и 18-ти лет...

В случае с Лермонтовым периодизация творчества, деление его на «раннее» и «нераннее» – произвол и удар в сердце: поэт ушел таким молодым! Но, несомненно, в середине 30-х годов наступает совершенно новый этап в работе и жизни поэта. «О, я ведь очень изменился!» – пишет он в 1835 году Марии Лопухиной. Сестра нежной Вареньки, двенадцатью годами старше Мишеля, Мария была его на-

персницей. Ей посылались письма и стихи, часто адресованные любимой Варваре. Имя Варвары фигурирует в озорной поэме «Сашка», где поэт осмеивает то весело, то горько и свою былую привязанность (В. Лопухина в 1835 г. вышла замуж), и собственный литературный стиль, и окружающее его ханжество, и крайние философские выкладки, вроде обожествления человека. Адептам человекобожия он бросает, как перчатку, шуточный вызов: «Что станет делать гордый царь природы,/ Который верно создан всех умней,/ Чтоб пожирать растенья и зверей,/ Хоть между тем (пожалуй, клясться стану) / Ужасно сам похож на обезьяну».

В «Сашке» в ироническом ключе упоминается и «злостный дух» который «бежал, как от креста» при звуке арфы от библейского царя Саула (46 строфа) и «Аббадона грозный, новым адом/ Испуганный, но помнящий эдем» (95 строфа), т.е. опять-таки Падший Ангел, он же Демон...

Окончательное прощание с образом Демона состоится в «Сказке для детей» в 1840 году. Тут тоже издевка, ирония: «То был ли сам великий Сатана/ Иль мелкий бес из самых нечиновных(...) Не знаю! Если б им была дана/ Земная форма, по рогам и платью/ Я мог бы сволочь различить со знатью...» И вдруг ернический стиль резко меняется, и опять всплывает «кумир поверженный», который, как в юношеском стихотворении, «все бог», пусть и с малой буквы:

*Но я не так всегда воображал  
Врага святых и чистых побуждений.  
Мой юный ум, бывало, возмущал  
Могучий образ; меж иных видений,  
Как царь, немой и гордый, он сиял  
Такой волшебной-сладкой красотою,  
Что было страшно... и душа тоскою  
Сжималась – и этот дикий бред  
Преследовал мой разум много лет.  
Но я, расставшись с прочими мечтами,  
И от него отделался – стихами!*

Последние строки часто приводятся в доказательство того, как лихо Лермонтов расквитался с демонизмом. Но это не так, что подтверждают предыдущие семь с половиной строк.

Борис Эйхенбаум сказал, что после Демона Лермонтов сводит (спускает – Т. Ж.) проблему добра и зла с неба на землю.

Я бы кое-что добавила к этому. Земля как основной плацдарм борьбы двух начал в творчестве поэта была всегда. Кто такие Вадим, Арбенин (в «Странном человеке» и «Маскараде»), Боярин Орша и, наконец, Печорин, как не раздираемые противоположными силами

живые люди, мини-демоны? Все эти образы в разной степени автобиографичны, хотя Лермонтов не любил, когда его отождествляли с его героями, Печориным, например. Это понятно. Дело даже не в том, что он был «шире и глубже» (М. Горький) изделий пера своего. Писатель, а тем более поэт лирического склада слишком много сокровенного, не предназначенного для чужих глаз вкладывает в своих персонажей. В сущности исповедуется через них. А кому охота, чтобы его исповедь звучала через динамику? Лермонтов был скрытен: «Я не хочу, чтоб свет узнал/ Мою таинственную повесть; / Как я любил, за что страдал,/ Тому судья лишь Бог да совесть». «Бог да совесть», а не прижизненные критики и посмертные исследователи. Как он выжимал, выдавливал из себя демонизм, исторгая его в мир внешний вместе со своими героями, – это тоже «таинственная повесть». И нам не дано знать, почему у нее такой захватывающий сюжет и такой печальный эпилог..

Между годом душевного перелома, 1835-м, и годом гибели, 1841-м, Лермонтов написал много замечательных стихотворений. Но тема беседы велит нам остановиться лишь на нескольких из них.

Во вступлении к этой книге я уже говорила, что лермонтовская «Смерть поэта» в далекие времена потрясла меня. Не только страстным заступничеством за убиенного Пушкина, не только своим «звучком», что «опережает смысл и сам становится смыслом» («А вы, надменные потомки...» и т. д.), как определил поэт Владимир Корнилов. Но и оглушающе громогласным, бесспорным свидетельством о Божием Суде, о грозном Судии. Впервые задумалась я тогда о вещах, превышавших тогдашний уровень школьного образования. Да что школа! Палец, приложенный к губам, был бы ответом на все вопросы религиозного толка, – поэтому их и не задавали, даже дома. Напомню этот крамольный отрывок:

*Но есть и божий Суд, наперсники разврата!  
Есть грозный Судия: он ждет;  
Он не доступен звону злата,  
И мысли и дела он знает наперед.  
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!*

Совсем недавно в «Дневнике» К. И. Чуковского я прочла запись от 31 мая 1960 г. о смерти Бориса Пастернака: «Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий (...) Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником – он переродился, стал чуждаться людей (...)

*И вы не смаете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!»*

Вот еще одно доказательство вечной правды и жгучей современности лермонтовских строк. И нетленность этих слов уходит корнями в Библию.

Вера в справедливый Суд Божий никогда не подвергалась сомнению в Ветхом Завете. В I Книге Царств – черным по белому: «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли (2, 10). Псалом 81, переложенный, в частности, Державиным, говорит о несправедливости человеческого суда, призывает Господа судить землю. Само выражение «Судия земли» взято из Библии. В Откровении Иоанна (20, 12) прямо сказано: «Судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Да и Символ веры говорит о втором пришествии Христа как Судьи живых и мертвых...

Эта тема тесно связана с другой, не менее животрепещущей: темой лермонтовского Пророка и пророчества вообще. Помню, как взволновало меня еще в школе «Предсказание», – на него не упирали в ранние пятидесятые по понятной причине, но прочла и задумалась наверняка не я одна:

*Настанет год, России черный год,  
Когда царей корона упадет;  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен  
Низвергнутый не защитит закон...*

Я знала о расстрелянных, о сосланных не понаслышке. Жены и дети «врагов народа» были моими соседями, родственниками. Стихи моего ровесника Лермонтова ранили в сердце...

И собственный конец поэт предсказал с беспощадностью древнего оракула: «Смерть моя /Ужасна будет; чуждые края /Ей удивятся, а в родной стране /Все проклянут и память обо мне...» (слава Богу, не все, но достаточно трех слов Царя Всея Руси!) И дальше, в том же стихотворении «1831-го, июня 11 дня»:

*Кровавая меня могила ждет,  
Могила без молитв и без креста...*

Именно так: пятигорский священник отказался отпевать погибшего на дуэли. Даже место дуэли точно не известно...



Лермонтовский «Пророк» скрыто полемизирует с пушкинским «Пророком»:

*С тех пор как Вечный Судья  
Мне дал всеведение пророка,  
В очах людей читаю я  
Страницы злости и порока.  
Провозглашать я стал любви  
И правды чистые ученья:  
В меня все ближние мои  
Бросали бешено камня.  
Посыпал пеплом я главу,  
Из городов бежал я нищий,  
И вот в пустыне я живу,  
Как птицы даром божьей пищи...*

Приходится признать: герой Лермонтова ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии. Так, Иеремия словно предвосхищает «Пророка», говоря: «Вотще поражал Я детей ваших: они не приняли вразумления; пророков ваших поядал меч ваш, как истребляющий лев» (2, 30). Будь у собратьев Иеремии другая судьба, Иисус Христос не сказал бы: «Иерусалим, убивающий пророков» (Мф. 23, 37).

Надо ли лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в XX веке, особенно в России после 17-го года, вздумали «провозглашать» «любви и правды чистые ученья»?..

И все-таки венчать главу о Лермонтове должно что-то другое. В сокровенных глубинах нашей темы пребывающее. Что же это? Молитва.

Известно три стихотворения с одноименным названием, но я чувствую потребность остановиться на одном из них, самом воздушном. «Молитва», посвященная Вареньке Лопухиной, писалась, когда Лермонтов сидел под арестом за «Смерть поэта», «с помощью вина, печной сажки и спички». Можно уличить ее в некоторой ритмической корявости, но, не сомневаюсь, именно так прозвучала она внутри его души. Как природный камень рядом с тщательной огранкой дает особый эффект, так и строки «Молитвы», выбиваясь из ритмической схемы, действительно, передают некое медитативное бормотание, нередкое при произнесении молитвенного текста «про себя»:

*Я, Матерь Божия, ныне с молитвою  
Пред Твоим образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покаянием,*

*Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника, в свете безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой заступнице мира холодного.  
Окружи счастьем душу достойную;  
Дай ей спутников, полных внимания,  
Молодость светлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному мир упования.  
Срок ли приблизится часу прощальному,  
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –  
Ты воспрять пошли к ложу печальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.*

...После гибели бесценного Мишеля самый близкий ему на свете человек – бабушка Елизавета Алексеевна распорядилась особым образом расписать купол «усыпальницы семейственной» в Тарханах, поместив в центре композиции лик Михаила Архангела, списанного ... с портрета внука.

Архангел Михаил – предводитель небесного воинства в окончательной битве против сил зла: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе» (Откр, 12, 7–8).

Кто-то скажет: хозяин – барин, что взбрело на ум старухе, спятившей от горя, то она и сделала.

Я придерживаюсь другой точки зрения. Пусть наивно, с явным перебором, но зримо и окончательно Елизавета Алексеевна ответила на вопрос, какому воинству принадлежит гений Лермонтова. Даже удивительно, как тонко она поняла своего внука. На такое проникновение в суть вещей способна только любовь.

## БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

### «Всю душу вместе с вами слить...»

(А. К. Толстой)

Мы знаем наизусть десятки его строк. Начни: «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», – кто-нибудь, в ком сильна школьно-хрестоматийная память, непременно продолжит: «Листья пожелтые по ветру летят». Скажи: «Средь шумного бала, случайно...», – тут же откликнутся: «В тревоге мирской суеты...»

«Колокольчики мои...», «Ты не спрашивай, не распытывай...», «Не ветер, вея с высоты...», «Звонче жаворонка пенье...», «То было раннею весной...» – начальные строки незабываемых стихов, пусть и ставших романсами. Счастливо найденный «первым» Толстым ключ к загадке русской души или русской истории, что, может быть, одно и то же: «Земля наша богата,/ Порядка в ней лишь нет...», – в разных вариациях знает вся читающая русская публика без изъятия.

Иногда популярность – враг славе. Столь известный поэт не прочитан по-настоящему. Спроси влюбленных в поэзию про «Крымские очерки» (четырнадцать благоуханных стихотворений о любви, о божественной красоте мира поднебесного), – почти наверняка не читали, не слышали, не подозревали даже, что мы богаты еще и таким лирическим наследством. Что уж говорить о поэмах «Грешница», «Иоанн Дамаскин» – они ведомы разве специалистам. В связи с нашей темой мы о них обязательно поговорим, но прежде – об их творце.

Он сочетал в себе сразу два могучих генетических потока: по отцу граф Толстой, по матери принадлежал к побочной линии Разумовских. Вельможа при Екатерине II, граф А. К. Разумовский, был его дедом. Дед остался в истории не только как основатель Царско-сельского лицея, но и как податель совета будущему солнцу русской поэзии. Прослушав на экзамене «Воспоминания в Царском Селе», сказал отцу Пушкина: «Я бы желал однако образовать вашего сына в прозе». «Оставьте его поэтом!» – возразил Державин. Красавец, европейски образованный, приближенный ко двору, в 28 лет камер-юнкер, в 39 – флигель-адъютант, Толстой рвется из своей золоченой клетки на волю, чувствует себя все больше и больше художником, а

не чиновником, хозяином своей судьбы, а не придворным фаворитом. Зимой 1850-1851 года на петербургском маскараде он встречается Софью Андреевну Миллер. Люди часто бывают злы, мемуаристы не составляют исключения. С отроческих лет мне запомнилось одно печатное замечание, поданное как острый соус к стихотворению «Средь шумного бала». Маска, мол, была снята, и под ней обнаружилось... «лицо чухонского солдата в юбке».

Ложь это или правда – не имеет значения. Какова бы ни была внешность Софьи Андреевны, этой женщине мы обязаны очень многим. Все лирические всплески вызваны ею, в ее руках – инструмент его души. Религиозное мироощущение Алексея Константиновича, пройдя через горнило любви к его земной музе, становится всеобъемлющей философией жизни. Оно наполняет ветром движения давно поднятый, но бессильный в безлюбном затишье парус его судьбы.

*Меня, во мраке и пыли  
Досель влачившего оковы,  
Любови крылья вознесли  
В отчизну пламени и слова.  
И просветлел мой темный взор,  
И стал мне виден мир незримый,  
И слышит ухо с этих пор  
Что для других неуловимо.  
И с горней выси я сошел,  
Проникнут весь ее лучами,  
И на волнующийся дол  
Взираю новыми очами...*

Пусть обманчивая простота этих строк, их литературная знакомость не отвратят нас от главного: от мысли поэта, ставшей чувством (и наоборот), от исповеднической интонации, от редкого свойства лирического героя – умения фиксировать в стихе все этапы собственной любви, как если бы он был ее сторонним исследователем. Сердцу стихотворения опускаю, хотя и она хороша. К концу же стихи набирают особую силу. Напомню, что латинское «religio» означает «связь», и тут она налицо – связь с другим человеком и через него с природой, с мирозданием, с Богом.

*И вещим сердцем понял я,  
Что все рожденное от Слова,  
Лучи любви кругом лия,  
К нему вернуться жаждет снова;  
И жизни каждая струя,  
Любови покорная закону,*

*Стремится силой бытия  
Неудержимо к Божью лону;  
И всюду звук, и всюду свет,  
И всем мирам одно начало,  
И ничего в природе нет,  
Что бы любовью не дышало.*

Помимо того, что это замечательные стихи, это и своеобразный, вероятно, невольный, художественный коллаж из двух текстов евангелиста Иоанна. Евангелие от Иоанна начинается широко известным: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В Первом же послании Иоанна (4, 7) говорится: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

– Авторы Священного Писания не о той любви пекутся! – возможно, возразят мне наиболее догошные читатели. И будут одновременно правы и не правы. Слово «любовь» в русском языке очень емкое, оно несет много значений, как духовных, так и плотских; впрочем, в Библии, – и это перешло в настоящую поэзию, – любовь телесная естественно одухотворяется.

В Ветхом Завете идет напряженный диалог любви между Богом и человеком. В Новом Завете он достигает своего апогея: «... так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3,16). А чем люди ответили? Тем, что распяли Его.

Книга Песни Песней Соломона – каноническая библейская книга, а ведь это гимн любви между мужчиной и женщиной, «...знамя его надо мною – любовь»; «Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам»; «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!»; «Как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими»; «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне»; «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня»; «... крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность»; «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (П.П. 2,4; 2,8; 2,13; 4,3; 5,6; 6,5; 8,6; 8,7). Чего тут больше – плоти, души, духа? Все вместе образует неразрубаемый узел, все будто спаяно свыше.

Православный священник Александр Ельчанинов (см. его «Записи») открывает нам глаза на, казалось бы, алогичную связь разных видов любви: «Познание через любовь. Любовь к миру, любовь к людям, любовь эротическая – как лучшая возможность познания».

Любовь эротическая?! Но, согласно Библии, засело у многих в

мозгу, любовь мужчины и женщины греховна по сути своей; именно за плотское соитие Творец изгнал Адама и Еву из рая... Так ли это? Великие умы бились над библейской загадкой и пришли к выводу, который хочется донести и до читателя... Первые люди были наказаны за желание «стать как боги», за знакомое каждому нетерпеливому ребенку стремление схватить с пылу с жару румяный пирожок, не думая, что больно обожжешься. Устами Создателя сказано: «... плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Бытие, 1,28). Где же тут запрет на тесную любовь?

Однако мы живем во времена, неординарные и в этом отношении. Из психо-физического таинства любви сейчас склонны делать непотребное шоу и бесстыдно демонстрировать его миллионам людей. Примитивные агитки за очищение от бытовой и прочей грязи самого возвышенного чувства надоели. Хочется мнения авторитетного. Не потому ли так часто цитируют теперь апостола Павла с его панегириком «проявлениям любви»? Да простят меня Софья Андреевна и Алексей Константинович, что я пользуюсь их частным случаем, чтобы одним – напомнить, другим – преподнести как новость эту дважды тысячелетнюю истину.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине; Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.» (1-е Кор, 13, 4–7)

Все было в их любви, все апостольские утверждения и отрицания были ей ведомы. Встреченная «среди шумного бала» незнакомка внесла в жизнь Алексея Константиновича и близких его бурю переживаний и сомнений. Дело даже не в том, что Софья Андреевна была не свободна, а ее муж, конногвардейский полковник, не спешил с разводом. Она давно уже не жила с ним, да и брак их, скорее всего, был заключен, чтобы удержать ее над пропастью. У избранницы поэта была «история». Первый возлюбленный обманул ее, родной брат за нее вступился, состоялась дуэль, брат был убит. Семья не могла простить ей этой утраты... Можно себе вообразить, какие сплетни доходили до матери Толстого, любившей его эгоистично, без меры.

Толстой не обманывает ни женщину, ни себя, понимая, что им предстоит длительная борьба за счастье. Будет ли она союзником в этой борьбе, поможет ли ему собрать самого себя для победы над внешними обстоятельствами: его растерзанное существо может быть исцелено только любовью. «... У меня столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые я силюсь примирить, но стоит только слегка прикоснуться, как все это приходит в движение, вступает в борьбу; от тебя я жду гармонии и примирения всех этих потребнос-

тей (...) Клянусь тебе, как я поклялся бы перед Судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души...» (письма 1851г.)

В том же 1851 году написано и стихотворение «С ружьем за плечами...», где «неведомый спутник» говорит поэту то, что он слышать не хочет:

*– «Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,  
Смеюсь, что ты будущность губишь;  
Ты мыслишь, что вправду ты ею любишь?  
Что вправду ты сам ее любишь?  
Смешно мне, смешно, что, так пылко любя,  
Ее ты не любишь, а любишь себя.  
Опомнись! Порывы твои уж не те,  
Она для тебя уж не тайна,  
Случайно сошлись вы в мирской суете,  
Вы с ней разойдетесь случайно...»*

С увлечением работает Толстой над поэмой «Грешница». Кто видел картину Г. И. Семирадского «Христос и грешница», вряд ли догадывался, что у нее есть литературный прообраз: забытая ныне поэма. Популярность ее была велика; на вечере у чеховской Раневской, в пьесе «Вишневый сад» ее читает... начальник станции. Несколько штрихов к портрету «падшей девы»:

*Глаза насмешливы и смелы,  
Как снег Ливана, зубы белы,  
Как зной, улыбка горяча;  
Вкруг стана падая широко,  
Сквозные ткани дразнят око,  
С нагого спущены плеча.  
Ее и серьги и запястья,  
Звеня, к восторгам сладострастья,  
К утехам пламенным зовут,  
Алмазы блещут там и тут,  
И, тень бросая на ланиты,  
Во всем обилии красы,  
Жемчужной нитью перевиты  
Падут роскошные волосы...*

Как знать, возможно, не будь встречи с Софьей Андреевной, не была бы написана и эта поэма. Или для изображения искусительницы использовались бы другие краски. Мемуаристы пишут о пышных волосах С. А., об ее белозубой улыбке, грациозной фигуре. На даль-

нейшем сходстве я не настаиваю. Сюжет поэмы прост. Молодая блудница, «самохвальная» дева бросает вызов «необычайному мужу», «что появился в их стране»; приняв за Христа его любимого ученика Иоанна из Галилеи, «с дерзкою улыбкой» подает ему шипящий фиал вина.

Встреча же с Христом и ее, закоренелую бесстыдницу, повергает ниц.

Сюжета, подобного толстовскому, в Евангелии нет. Но слова «грешница», «блудница» повторяются не раз. Так, в Евангелии от Луки (7, 36–50) рассказывается: Иисус пришел по приглашению в дом фарисея «вкусить с ним пищи». «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея (...) начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». Христос прочел брезгливые мысли хозяина о грешнице и горячо взял ее под защиту. Многим памятен образ неверной супруги, которую привели к Иисусу, чтобы при Нем сурово покарать; Он остановил карателей: «... кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8,7). А кто такая жена-мироносица Мария Магдалина, первая принявшая, по Евангелию от Марка, весть о Воскресении Христа, как не бывшая блудница, раскаявшаяся грешница?.. Становятся понятны слова Учителя, переданные Матфеем: «... истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (21, 31).

В литературной среде поэма «Грешница» была встречена без энтузиазма. Автору делали два упрека. Первый: мгновенное перерождение героини, когда Иисус остановил на ней Свой взор: «И был тот взор как луч денницы,/ И все открылося ему,/ И в сердце сумрачном блудницы/ Он разогнал ночную тьму /.../ Внезапно стала ей понятна/ Неправда жизни святотатной,/ Вся ложь ее порочных дел,/ И ужас ею овладел». Тут можно поспорить: из Евангелия известно: «...слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются...» (Лк. 7, 2) А что такое грех, как не нравственная слепота, хромота, проказа?.. В том-то и состоит чудо, что перерождение свершается внезапно.

Второй упрек касается эстетической стороны. Так роскошно, как описано в поэме, в начале нашей эры не одевались даже заядлые блудницы. Так-то оно так, но тогда надо поставить под сомнение все картинные галереи мира, где персонажи священной истории, как правило, предстают в одеяниях, соответствующих «высокой моде» эпохи и страны художника.

Жаль, критики поэмы не заметили, с какой любовной тщательностью написан Толстым портрет Христа:

*То не пророка взгляд орлиный,  
Не прелесть ангельской красы,*



*Делятся на две половины  
Его волнистые влася;  
Поверх хитона упавая,  
Одела риза шерстяная  
Простою тканью стройный рост,  
В движеньях скромн он и прост;  
Ложась вокруг уст его прекрасных,  
Слегка раздвоена брада,  
Таких очей благих и ясных  
Никто не видел никогда.*

Уж если мы собираем как в копилку все живые черточки Его непостижимой натуры, с той или иной степенью приближения угаданные отечественными поэтами, нельзя пройти мимо следующей строфы:

*«...Теперь пришел Он, благодущный,  
На эту сторону реки,  
Толпой прилежной и послушной  
За Ним идут ученики».*

Кавычки говорят о том, что это мнение не автора – народа. Точно ли Христос был благодущен? Называть благим Он себя запретил, ибо «Никто не благ, как только один Бог.» (Мф. 19, 17) Так что «благие очи» (см. выше) – это поэтическая вольность. Но вот что касается благодущия... В той же 19-й главе Матфея, – а в ней описываются события, происшедшие, когда Иисус вышел из Галилеи и оказался за Иорданом, т. е. «пришел... На эту сторону реки», – Он произносит широко известные слова: «...удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» (19, 24).

Мы привыкли представлять себе Христа только серьезным. А это – шутка. Иисус шутит перед своими учениками. Не потому ли он и назван «благодущным»?

Закончу сагу о любви Алексея Константиновича и Софьи Андреевны. Она, их любовь, воистину «долготерпела». Церковный брак был заключен только через 12 лет после знакомства. Все испытания выдержало их чувство, но печаль стала постоянным спутником лирической героини, а лирический герой узнал «горе-гореваньице» не по чужим стихам...

Следующая за «Грешницей» – поэма «Иоанн Дамаскин». Даже те, кто впервые слышит о ней, наверняка знают строки:

*Благословляю вас, леса,  
Долины, нивы, горы, воды!*

*Благословляю я свободу  
И голубые небеса!  
И посох мой благословляю,  
И эту бедную суму,  
И степь от края и до края,  
И солнца свет, и ночи тьму,  
И одинокую тропинку,  
По коей, нищий, я иду,  
И в поле каждую былинку,  
И в небе каждую звезду...*

Не отнимая у музыки Чайковского мощи ее воздействия, согласимся с тем, что и слова особенные. Бессмертные. Проникнутые религиозным чувством, переходящим в экстаз:

*О, если б мог всю жизнь смешать я,  
Всю душу вместе с вами слить!  
О, если б мог в свои объятья  
Я вас, враги, друзья и братья,  
И всю природу заключить!*

Кто из нас не испытывал, хотя бы урывками, необъяснимого блаженства – просто от того, что ты жив, что ты – малая, но необходимая частичка огромного, прекрасного, дышащего и тоже – страшно предположить – одухотворенного организма?! «Всё во мне, и я во всем» – кратко определил это Тютчев. Устами своего героя, византийского богослова и поэта 7-8 вв. Иоанна Дамаскина Толстой благословляет этот Организм – необъятный мир Божий. Жаждет любовью ответить на любовь. Но откуда же тогда сослагательное наклонение: «О, если б мог...»?

Самый глагол «благословляю» (или «благословлю») обращает нас к Псалтири, где псалмопевец неоднократно благим словом поминует Творца: «Благословлю Господа, вразумившего меня...» (Пс. 15, 7); «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих» (33, 2); «Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои» (62, 5). В других Книгах Ветхого Завета человека благословлял Бог, а вот Псалтирь – ответный клик, брошенный с земли к Небу.

Вместе с Создателем автор псалмов благословляет и его Создание: «Да веселятся небеса, и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все деревья дубравные...» – звучит здравица природе в 95-м псалме (11-12).

Алексей Константинович не перекладывает псалмов, как его

предшественники в поэзии, но их мажорный тон словно передается ему, вернее, его герою.

«О, если б мог всю жизнь смешать я,/ Всю душу вместе с вами слить!» – эти полные воздухом странствий строки, идущие сразу за панорамой благословенной земли, будто запинаятся о какую-то преграду. Какую же? Псалом 23-й приоткрывает эту тайну: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней (...) Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно...» (1, 3-4)

Любовь к Творению во всех его ипостасях, внимание ко всему сущему, вплоть до былинки в поле, жажда очищения как условие «взойти на гору Господню» выделяют Алексея Константиновича даже из ряда лучших русских поэтов.

Снова и снова его предтеча Иоанн, а с ним и автор, обращаются к образу Христа: «Зачем не в то рожден я время,/ Когда меж нами, во плоти,/ Неся мучительное бремя,/ Он шел на жизненном пути!/ Зачем я не могу нести,/ О мой Господь, Твои оковы,/ Твоим страданием страдать,/ И крест на плечи Твой приять,/ И на главу венец терновый!»

Не хочу впадать в грех отождествления героя и автора, но толстооведами давно замечено: в поэме много автобиографического. Иоанн, поставленный властелином Дамаска «и суд рядить, и править градом», рвется прочь от почетной службы; то же стремление владеет Толстым. Он пишет товарищу своих детских игр, ныне императору Александру II: «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей «природе»... Я надеялся... победить мою природу художника, но опыт доказал мне, что я боролся с ней напрасно...» Почти то же самое говорит халифу Дамаскин:

*«О государь, внемли! мой сан,  
Величье, пышность, власть и сила,  
Все мне несносно, все постыло.  
Иным призванием влеком,  
Я не могу народом править:  
Простым рожден я быть певцом,  
Глаголом вольным Бога славить!»*

Автобиографический крен, исказивший, по мнению педантов, взятое из Четых-Миней житие святого, был одной из причин временного запрещения поэмы. Толстой терпеливо переждал запрет. Он не собирался класть на стихи биографию подлинного Иоанна Дамаскина. Его волновало другое. Может ли поэт-христианин, в чьей душе

«пылает жар, / Которым зиждется создание», признать право на ограничение и даже запрещение своей небесной миссии, от кого бы они ни исходили?

Автор поэмы ставит своего предтечу в экстремальные условия. Покинув государственный пост, он удаляется в монастырь, где суровый старец дает ему послушание: «... отложить/ Ненужных дум бесплодное брожение; / Дух праздности и прелесть песнопенья/ Постом, певец, ты должен победить!»

Есть множество ухищрений, дабы наложить на уста поющего «молчания печать»; уставная строгость духовного наставника – не худшее из них. Так же, как последовавшая за ней епитимья за своеволие (один раз сорвался, запел) – чистить с лопатой и метлою черной двор лавры, читай: отхожие места.

XX век, как, пожалуй, никакой другой, поднаторел в этом. Мы – свидетели. И прорабатывали, и затыкали рот, и заставляли наступать на горло собственной песне, и бросали первостатейные таланты рядом с тюремной парашей – что там чистка нужника! Вот почему так дорога, так современна у Толстого нота противостояния певца и фанатика-запретителя. Она звучит все громче и завершается победой Иоанна. Сама Богоматерь становится на его сторону! Парадокс: в религиозной поэме славится непокорство монастырскому уставу, установлениям Церкви? Нет-нет, это не пресловутое «будем как боги». Речь идет о Божием даре, который нужно вернуть Дарителю, по возможности, полнее использовав. Творя, художник выполняет волю Творца и, пусть в неизмеримо меньших масштабах, но уподобляется Ему. «Дарование есть поручение» – вспоминаются слова Боратынского.

Насилие же над творцом, носителем в идеале небесной миссии, приравнивается автором к распятию. Снова возникает образ Христа:

*Тот, кто с вечною любовью  
Воздавал за зло добром –  
Избиен, покрытый кровию,  
Венчан терновым венцом –  
Всех, с собой страданьем сближенных,  
В жизни долею обиженных,  
Угнетенных и униженных,  
Осенил Своим крестом.  
Вы, чьи лучшие стремления  
Даром гибнут под ярмом,  
Верьте, други, в избавление –  
К Божью свету мы грядем!  
Вы, кручиною согбенные,  
Вы, цепями удрученные,*

*Вы, Христу сопогребенные,  
Совоскреснете с Христом!*

Хочется отметить такой факт. Как мы помним, Толстому пеняли за то, что образ Иоанна слишком автобиографичен: поэт в нем и тяга к искусству перевешивают церковные заслуги и христианские добродетели. Действительно, Иоанн Дамаскин написал десятки канонов, его гимны исполнялись на Пасху, Рождество, Вознесение и дожили до наших дней. Он обновил литургию, вновь введя в нее античную просодию. О его святости свидетельствует житие... Но есть такие тексты, которые известны не только людям церковным, а неизмеримо более широкому кругу, такие духовные перлы, которые вошли в мировую сокровищницу. «Аз есмь земля и пепел (...) кости обнажены, и (...) кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту (...) бесславно, не имущу вида...» Тысячу двести лет живут эти слова Дамаскина именно потому, что он – поэт, художник высокой пробы. А поэт поэта, как рыбак рыбака, видит издалека...

Поэт, как мы уже знаем, всегда пророк. Что же напроорочил Алексей Константинович? В отечественной истории он жил, как в родном доме, и видел дальше и зорче, чем признанные дальновидцы.

Баллада не очень привилась к древу русской поэзии. После Жуковского выдающихся «балладников», вроде, не было. Толстой обновил этот жанр. Лучшей считал балладу «Змей Тугарин». Образ, или, скорее, образина Змея, отсылает нас к былинам и опять-таки Библии. Автор не скупится на краски: «Глаза словно щели, растянутый рот,/ Лицо на лицо не похоже,/ И выдались скулы углами вперед,/ И ахнул от ужаса русский народ:/ « Ой рожа, ой страшная рожа!» Оказывается, и «рожа» может быть певцом, и через нее могут говорить небеса, если посредником выступает поэт. Каково же предсказание, произнесенное «близ стольного Киева-града», на пиршестве великого князя Владимира (не забудем, что он-то и крестил Русь)? Змей предсказывает татаро-монгольское иго, чему, понятно, никто не верит. После же него утвердится... как привычнее выразиться нам, живущим через 130 лет после создания баллады? Культ личности, что ли? Судите сами:

*Певец продолжает: «И время придет,  
Уступит наш хан христианам,  
И снова подымется русский народ,  
И землю единый из вас соберет,  
Но сам же над ней станет ханом!*

*И в тереме будет сидеть он своим,  
Подобен кумиру средь храма,  
И будет он спины вам бить батожьем,  
А вы ему стукать да стукать челом –  
Ой, срама, ой горького срама!»*

«Кумир», «кумир средь храма» – как древни эти понятия! «Не делай [не сотвори] себе кумира...» – предостерегает четвертый стих 20-й главы Исхода, где предлагаются человечеству заповеди Моисея, данные ему Господом на горе Синай, как считается, за две тысячи лет до Христа! В Ветхом Завете, во Второй книге Паралипоменон, некий прозорливец ставит в заслугу царю, что он «истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога» (19, 3). «Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, – и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих» – через пророка обращается Сущий к непокорному народу (Михей, 5, 13).

«Взыскать», то есть искать и найти Бога, и творить кумиры из смертных – стремления прямо противоположные, вытесняющие друг друга. Кто владыки наши, кто держатели батогов-палок, как не «изделия рук наших»?

«Татарщина»<sup>15</sup>, внешняя и особенно внутренняя, всегда имела в лице Алексея Константиновича непримиримого врага. Ну, а царь? Деспотия, освященная традицией, законная, или, как у нас любят выражаться, легитимная власть? «Несть власти, аще не от Бога» – это тоже Библия.

Толстой, конечно, не был «борцом с самодержавием», это настолько очевидно, что даже советские исследователи не приписывали ему этой почти общей для тогдашнего литературоведения доблести. Но к своей знаменитой трагедии «Смерть Иоанна Грозного» он берет эпиграфом слова из Книги пророка Даниила (4, 27-29), – при желании их можно счесть антимоноархическими. Переложенные с церковнославянского, они читаются так: «Царь сказал: «это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: « тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей и будет обитание твое с полевыми зверями...» Навуходоносор – реальное лицо, вавилонский царь, живший в VI веке до н. э. Имя его стало нарицательным для обозначения неограниченного самовластителя, тирана на троне. По преданию, он сошел с ума, вообразил себя быком и жил среди четвероногих.

---

<sup>15</sup> К народу, проживающему в России, это не имеет никакого отношения. – Т. Ж.

Что бы ни питало образ самодержца, – сильный характер, высшие государственные соображения, якобы угодные Богу (Иоанн Грозный), субъективная порядочность, искренняя религиозность с оттенком юродивости (царь Федор Иоаннович), хитрость, тороватость, толкнувшие на хорошо продуманное преступление, – не убил бы чужими руками царевича Дмитрия, не стал бы царем (Борис Годунов), – все варианты власти обречены. Так было в России, и не только в XVI–XVII веках.

Эпиграф к «Смерти Иоанна Грозного» можно отнести ко всей драматической трилогии Толстого. Так же, как и последние слова благородного царедворца Захарьина:

*О царь Иван! Прости тебя Господь!  
Прости нас всех! вот самовласть кара!  
Вот распаденья нашего исход!*

По мысли автора, в них «должны звучать глубокая горесть и предвиденье будущих несчастий». Они, как мы знаем из истории, не замедлили последовать.

Человек, близкий к двору, Алексей Константинович знал о тлетворном дыхании единовластия больше, чем кто бы то ни было, потому что сам дышал его испарениями. Вот его аттестация народного любимца Захарьина: «Он в полном смысле честный и прямой человек, готовый всегда идти на плаху скорее, чем покривить душой или промолчать там, где совесть велит ему говорить. Но он живет в эпоху Иоанна, в такую эпоху, где злоупотребление власти, раболепство, отсутствие человеческого достоинства сделались нормальным состоянием общества. На все это он насмотрелся вдоволь, и его способность негодовать притупилась...»

Может быть, не только из любви к искусству покинул наш герой магнетическое тронное пространство?..

Если он не монархист, то кто же? Социал-демократ? Поборник лозунгов Французской революции «Свобода. Равенство. Братство»? Никак нет! Сквозь невидимые гоголевские слезы потешается Толстой над проектами «самомнительных неучей» в одной из своих баллад. Первоначально она называлась «Баллада с тенденцией». Сейчас – по первой строке – «Порой веселой мая».

Автору неважно, кто они, эта гуляющая «по лугу вертограда», напоминающая ряженных парочка. Важно, о чем их зловеший лепет: «Есть много места, лада,/ Но наш приют тенистый/ Затем изгадить надо,/ Что в нем свежо и чисто!»/ «Но кто же люди эти, – / Воскликнула невеста, – / Хотящие, как дети,/ Чужое гадить место?»/ «Чужим они, о лада,/ Не многое считают./ Когда чего им надо,/ То ташут

и хватают»... / Весь мир желают сгладить / И тем ввести равенство,  
Что все хотят загадать / Для общего блаженства!» Естественно, автору баллады досталось от «Отечественных записок» Некрасова и «Искры» Курочкина. Хотя она была напечатана без заключительной ударной строфы: «Служите ж делу, струны! / Уймите праздный ропот! / Российская коммуна, / Прими мой первый опыт!»

Не менее решительно отмежевывается наш сатирик от нигилистов и тех либералов, которые готовы их усыновить: «От скотов нас Дарвин хочет / До людской возвесть середины – / Нигилисты же хлопчут, / Чтоб мы сделались скотины... / Грязны, неучи, бесстыдны, / Самомнительны и едки, / Эти люди очевидно / Норовят в свои же предки...» («Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме»).

Слишком сгущено? Но сатира и есть сгущение, возведение характерных признаков в энную степень. Это ведомо Толстому со дня рождения коллективного детища (вместе с братьями Жемчужниковыми) – Козьмы Пруткова. «Кусательные словеса» (выражение А.К.Т.) отлично уживались в нем с лирическим пафосом. Сатиру никто не лубит. Из тех, разумеется, в кого она метит. Лучший способ защититься – назвать мелким, не стоящим внимания объектом сатиры. Так было и во времена Толстого. Он писал одному из адвокатов нигилизма: «Он вовсе не дрянность, он глубокая язва. Отрицание религии, семейства, государства, собственности, искусства – это не только нечистота, – это чума, по крайней мере по моему убеждению».

Прогрессисты негодовали – консерваторы торжествовали бы, но... Тем же пером, тем же стихотворным размером, что и «Послание», чуть раньше написаны три строфы, полемизирующие с Тютчевым, с одним из самых христианских его стихотворений, где «Удрученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь небесный / Исходил, благословляя».

В эпиграфе – тютчевское: «Эти бедные селенья, / Эта скудная природа!»

*Одарив весьма обильно  
Нашу землю, Царь небесный  
Быть богатою и сильной  
Повелел ей повсеместно.  
Но чтоб падали селенья,  
Чтобы нивы пустовали –  
Нам на то благословенье  
Царь небесный дал едва ли!  
Мы беспечны, мы ленивы,  
Все у нас из рук валится,  
И к тому ж мы терпеливы –  
Этим нечего хвалиться!*



Так и слышу свистящее: рус-с-софоб! Тогда не было в ходу такого обвинения, но подобные были, и Алексей Константинович мужественно держал удар. Желая славянам и всем нам «побольше смирения, только не того смирения, примеры которого мы явили в избытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: «Божья воля! Поделом нам, г.....ам, за грехи наши! Несть батогов аще не от Бога!» и т. д., а иного смирения, полезного, которое заключается в признании своего несовершенства, дабы покончить с ним».

Со славянофилами он все больше расхотелся, писал: «Я западник с головы до пят», раздражал ординарность мыслью, что Россия должна вернуться в «ее первобытное европейское русло», то есть к своим историческим и культурным истокам. Но «людей передовых» в лучшем случае удивляла его горячая религиозность. Свободная личность, созданная по образу и подобию Божию и неотрывная от своего Творца, была его идеалом.

*Двух станов не боец, но только гость случайный,  
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,  
И к клятве ни один не мог меня привлечь;  
Союза полного не будет между нами –  
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,  
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,  
Я знамени врага отстаивал бы честь!*

Это стихотворение называлось сначала «Галифакс» по имени английского политика 17 века, который умел видеть текущие события с точки зрения вечности и, вероятно, поэтому был строг к своим союзникам, а противникам умел отдать должное. Но для нас это стихотворение особенно важно, потому что его лирический герой отверз свой слух для самой, может быть, трудно выполнимой заповеди Христа: «...любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите, ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» (Мф. 5, 44). Мы уже размышляли о ней в беседах наших, но сколько ни размышляй, мало не покажется... Толстой всегда помнил эту заповедь, – ведь и в «Дамаскине», желая вместе со своим предтечей обнять всех братьев по земной юдоли, он ставит врагов на первое место.

Иоанн Дамаскин, если помните, как и все, грядущие «к Божью свету», переживал «сопогребение» и «совоскресение» с Христом. Еще явственнее эта параллель в стихах «Против течения».

*Други, вы слышите ль крик оглушительный:  
Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли  
Вымыслы ваши в наш век положительный?*

*Много ли вас остается, мечтатели?  
Сдайтесь натиску нового времени,  
Мир отрезвился, прошли увлечения –  
Где ж устоять вам, отжившему племени,  
Против течения?»*

Ныне, в конце второго тысячелетия от Рождества Христова, эти стихи страшно злободневны, особенно для русской культуры. Кругом твердят об ее упадке – закономерном, порой добавляют недоброжелатели, после книжного и художественного бумов. Творцам не доверяют. Если раньше советовали переквалифицироваться в дворники, то теперь – в ларечники. Чтобы пользу приносили. Кроме узкой прослойки ветеранов-любителей и молодых фанатов художниками и певцами (поэтами) никто в компьютеризованном обществе всерьез не интересуется. Это и называется «натиском нового времени». Но послушаем Алексея Константиновича:

*В оные ж дни, после казни Спасителя,  
В дни, как апостолы шли вдохновенные,  
Шли проповедовать слово Учителя,  
Книжники так говорили надменные:  
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,  
Всем ненавистном, безумном учении!  
Им ли убогим идти галилеянам  
Против течения?»*

Насчет «безумия» христиан есть новозаветное изречение: «...если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым» (1 Кор. 3, 18).

Разделим же «безумие» одного из самых мудрых и современных поэтов, пославшего нам из прошлого века среди прочих и эти стихи, тяжеловесные, писанные четырехстопным дактилем, с длинными дактилическими рифмами подстать упорным веслам:

*Други, гребите! Напрасно хулители  
Мнят оскорбить нас своею гордынею –  
На́ берег вскоре мы, волн победители,  
Выйдем торжественно с нашей святынею!  
Верх над конечным возьмет бесконечное,  
Верою в наше святое значение  
Мы же возбудим течение встречное  
Против течения!*

Тяжело? А на утлой лодчонке четырехстопного хоря против течения не выгребешь!

## БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ

### «Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!»

(В. Соловьев)

Сейчас его, наверное, приняли бы за инопланетянина.

Не из тех зеленых человечков, которые якобы не раз посещали на своих алюминиевых тарелках нашу несовершенную землю. За инопланетянина как представителя высшей внеземной цивилизации, где давно покончили с братоубийственными войнами. Где Восток и Запад осознали, что они – две стороны одного и того же света; можно уподобить его вечно колеблемой доске: не будет равновесия – все полетит в тартарары. Где, возможно, остаются расовые, религиозные и прочие различия, но никто никому за это не грозит перегрызть глотку..

Неизвестно, как выглядел бы рядом с нами посланец иных миров. Можно предположить, что он походил бы на Владимира Соловьева. Разница между красотой привычной нормы и тем, что он увидел на земле, запечатлелась в его чертах резко до болезненности. Лицо аскета обрамляют черная борода и угольно-дымчатые волосы, словно взметенные невидимыми вихрями. Горящий взгляд притушен самоиронией; когда такой огонь проникает внутрь, как же он жжется, испепеляет человека!.. Русский по происхождению, сын известного историка Сергея Соловьева и чадородной, чадолубивой Поликсены Романовой, Владимир Сергеевич удался то ли в патриарха Моисея, то ли в апостола Павла, какими изобразил их Гюстав Доре.

Философ и поэт не чуждался земного: часто пребывал в состоянии отчаянной влюбленности, любил дружеское застолье. Вино, считал он, прекрасный реактив: пьяный скот становится совершенной скотиной, а кто человек – тот станет ангелом. У него был необыкновенный смех, детски заразительный, но и страшноватый, видимо, пугавший несоответствием потаенной грусти души.

Мы будем говорить преимущественно о поэзии Соловьева. Но совершенно избежать того главного, что прославило его на весь мир, невозможно. Он был прежде всего философом, христианским богословом, а к своим стихам относился, как относятся к незаконным де-

тям: любовно-стыдливо. Время же распорядилось так, что именно стихи были подняты на щит зачинателями Серебряного века в русской поэзии: В. Брюсовым, А. Блоком, А. Белым. Через стихи постигали они его философию. Попробуем пойти по их следам...

Владимиру было девять лет, когда за воскресной обедней в церкви ему явилось божество в виде прекрасной девушки. Не девушка, похожая на богиню, не какая-нибудь античная богиня в девичьем образе – сама Мировая душа пожаловала к ребенку на первое свидание. Серьезность, с которой он воспринял это видение, обличала в нем будущего мистика... Шли годы. Юноша вращался в так называемой передовой среде; вступив в сознательную жизнь, вместе с другими вольнодумцами отвергал Бога, изучал биологию, резал лягушек. Но какой-то жизненно важный отсек его сердца был пронзен тем, стародавним «лучом чудесного огня». Причем луч этот был не столь немолчимым, как в стихах его предшественника Лермонтова. Наоборот, он согревал, поднимал над обыденностью, обещал невероятные встречи в будущем, сулил вечное свидание за гробом.

Вторая встреча с Ней состоялась, если можно так выразиться, в Англии, в Британском музее, когда, выказав необыкновенные разносторонние способности, он уже защитил диссертацию, направленную против позитивистов, то есть материалистов, стал магистром философии, доцентом Московского университета и был поглощен взрослыми солидными занятиями. Третью встречу Она назначила ему в египетской пустыне, чей ландшафт так похож на библейский; да почему же «похож» – он и есть библейский, достаточно вспомнить, как ветхозаветного Моисея, младенцем, в тростниковой плавучей корзине выловила из реки фараонова дочь (Исход, 2).

Этим странным свиданием под Каиром навеяно несколько соловьевских стихотворений середины 70-х годов. Даже наш алмазный, ограненный корифеями поэтический язык недостаточно изощрен, чтобы с максимальным приближением передать видения автора. Позитивистский ум увидит здесь нечто условное, неживое, надуманное. Но кто изначально верит поэту, постарается «по бледным заревам искусства» (Блок) узнать, какой же мистический опыт стоит за «книжными» словами.

Иногда мистика путают с оккультизмом. Это далеко не одно и то же. Говоря образно, оккультист всеми дозволенными и недозволенными способами пытается попасть в величественное здание веры с черного хода. Мистик не химичит: ему дано влететь в это здание на невидимом ковче-самолете. Христианские мистики неведомыми путями постигали то, что никакому логическому знанию, никакой вышке недоступно.

Вот стихотворение конца ноября 1875 года, под которым стоит место написания: Каир.

*Вся в лазури сегодня явилась  
Предо мною царица моя, –  
Сердце сладким восторгом забилось,  
И в лучах восходящего дня  
Тихим светом душа засветилась,  
А вдали, догорая, дымилось  
Злое пламя земного огня.*

Запомним это: «в лазури». Потому что и в других каирских стихах поэт повторяет: «лазурные очи», «лучезарный покров», «в эфирных лучах». Воистину: «Как беден наш язык! – Хочу и не могу...» Признание вырвалось у виртуоза поэтического слова Афанасия Фета.

Поэму «Три свидания» (а их и было три) Владимир Соловьев написал спустя годы. Поэма – как будто ироническая, не по отношению к своим чувствам («Ах, какой я был тогда глупый!» – этого в ней нет), а скорее, с учетом реакции среды, не верящей в чудеса, да и по глубинной потребности стыдливой души отстраниться, отмежеваться таким образом от своих слишком интимных переживаний.

Детская встреча с Ней, как мы говорили, происходит в храме. Душа ребенка уже замутнена любовью, ревностью... к девятилетней сверстнице. Но все это мигом пройдет, улетучится, когда появится неожиданная гостья:

*Алтарь открыт... Но где священник, дьякон?  
И где толпа молящихся людей?  
Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он.  
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.  
Пронизана лазурью золотистой,  
В руке держа цветок нездешних стран,  
Стояла ты с улыбкою лучистой,  
Кивнула мне и скрылась в туман...*

Другое патетическое место – последнее свидание с «лучезарной» в египетской пустыне, пока по сю сторону бытия, но как пролог к потустороннему, вечному:

*И в пурпуре небесного блистанья  
Очами, полными лазурного огня,  
Глядела ты, как первое сиянье  
Всемирного и творческого дня.  
Что есть, что было, что грядет вовеки –  
Все обнял тут один недвижный взор...  
Синеют подо мной моря и реки,  
И дальний лес, и выси снежных гор.*

*Все видел я, и все одно лишь было –  
Один лишь образ женской красоты...  
Безмерное в его размер входило, –  
Передо мной, во мне – одна лишь ты...*

Умеющий смеяться надо всем, а пуще – над собой, автор намеренно вводит в поэму резонера генерала с его солдафонской прямо-той: «Конечно, ум дает права на глупость, / Но лучше сим не злоупотреблять... / А потому, коль вам прослыть обидно / Помешанным иль просто дураком, – / Об этом происшествии постыдном / Не говорите больше ни при ком». Но к финалу автор забывает об иронии.

*Еще невольник суетному миру,  
Под грубою корою вещества  
Так я прозрел нетленную порфиру  
И ощутил сиянье Божества.  
Предчувствием над смертью торжествуя  
И цепь времен мечтою одолев,  
Подруга вечная, тебя не назову я,  
А ты прости нетвердый мой напев!*

Кто же Она, способная слить воедино все впечатления бытия, разомкнуть цепь времен и перенести нас в безвременность (не путать с безвременьем!). Еще в беседе о Державине мы говорили о Премудрости Божией как одном из имен Создателя, основе основ всего существующего. Соловьев увидел Ее в женской ипостаси, в образе Софии, Вечной Подруги, Вечной Женственности. Та ностальгия по идеальному, что никогда не оставляла поэтов–романтиков, что знакома и простым смертным, особенно в юношеском возрасте, была не только испытана им, но получила насыщение, удостоилась ответа Небес.

Для нашей темы важно, что мысль о Софии всегда присутствовала в Библии. Только там Она не под греческим своим именем, а под русским: Премудрость. Откроем каноническую библейскую Книгу Притчей Соломоновых и прочтем в главе восьмой: «Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях; Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери: «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда...» (1–6).

Премудрость, оказывается, живое, совершенно самостоятельное существо и если она показывается людям «при входе в город, при входе в двери», то почему бы ей не показаться в храме, мальчику, будущему мыслителю и поэту?

Соловьев пишет о том, что над Ней не властно время, что Она вечна, то есть была, есть и будет. Мы и это найдем в первоисточнике: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони: От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной... (может быть, атомов? – Т. Ж.) Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицом Его во все время...» (Притчи, 8, 22–30).

Невольно вздрагиваешь, когда в тексте, превосходящем обыденное сознание, встречаешь такое знакомое, такое родное слово: художница. Теперь понятно, почему, описывая Её, поэт не скупится на краски, почему у него лазурь не сходит с пера, почему радость разлита кругом. Нет-нет, он не фантазирует, не сочиняет – он так видит.

Все, что любовно поименовано при третьем свидании: «моря и реки, /И дальний лес, и выси снежных гор», – вступает в переключку с Притчами; ведь красоту поднебесную творил Господь, при Котором Премудрость была художницей.

Начальная строфа второго стихотворения каирского цикла, написанного, как и «Вся в лазури сегодня явилась...», еще в 1875 году:

*У царицы моей есть высокий дворец,  
О семи он столбах золотых,  
У царицы моей семигранный венец,  
В нем без счету камней дорогих... –*

имеет прямую параллель в Притчах: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его...» (9, 1). Остальное довершил философский и поэтический гений Владимира Сергеевича.

Многих, вероятно, удивит, а кого-то и оттолкнет слишком личная интонация соловьевских стихов о Вечной Подруге. Не будем спешить с оценкой – постараемся понять поэта.

«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня», – сказано в Притчах (8, 17). Следовало бы гордиться, что в нашей поэзии, нашей философии нашелся такой избранник.

Не надо притворяться, что нам тут все ясно. Чем скромнее мы будем в своих догадках, тем лучше. Прежде чем расстаться с этой сложной темой, хочу сказать еще вот о чем. Для Соловьева было чрезвычайно дорого, что София «есть тело Божие, материя Божества, про-

никнутая началом божественного единства» («Чтения о богочеловечестве». Чтение седьмое). Создание едино, потому что один Создатель. Божие дело на земле, согласно Соловьеву, к тому и направлено, чтобы все человечество стало едино в Боге, стало богочеловечеством. В беседе о Тютчеве я уже цитировала евангельское: «Да будут все едино...» (Ин., 17, 21). Это обращение Христа к ученикам распространяется на всех нас, считающих себя христианами. Когда апостол Павел «умоляет» (именно так!) ефесян снисходить «друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4,3), он в сущности предвосхищает Соловьева.

Глубоко ошибется тот, кто примет образ Софии за какой-то инородный, чуть ли не еретический (у нас обожают это словечко!). Владимир Сергеевич всегда тяготел к древнерусскому благочестию, а в нем Премудрость Божия занимала большое место. Недаром предки наши воздвигали дивной красоты Софийские соборы, чувствовали в Софии существо божеское и одновременно человеческое; уставшие от распрей и междоусобиц, тянулись к ней как началу объединяющему...

Когда звук, исторгнутый его лирой, слишком отрывался от земли, летел куда-то за облака, где, по мнению обывателя, парит душа всякого поэта, Соловьев одергивал себя – шуткой, автопародией, эпитафией самому себе, вроде: «Ласкается небо к цветущей земле,/ Грачи прилетели, а я – на столе».

И к стихам о Вечной Женственности есть такой необременительный прицеп, где беседа о высоких материях ведется... с морскими чертями. Какие-никакие, а тоже демонические силы! Впрочем, «Слово увещательное к морским чертям» и шутливо и философично, потому что касается предмета серьезного.

*Черти морские меня полюбили,  
Рыщут за мною они по следам:  
В Финском поморье недавно ловили,  
В Архипелаг я – они уже там!  
Ясно, что черти хотят моей смерти,  
Как и по чину прилично чертям.  
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,  
Вам я себя на съеденье не дам.*

«Бог с вами, черти!» – это, действительно, смешно. Но только ли смешно? Ведь и черти, исходя из сказанного раньше, есть часть творения, и на них, как на всякую тварь, падает свет вышней любви. Видно, не от хорошей жизни творят они свои пакости. В Евангелии сказано, что «...вся тварь совокупно стенает и мучится донныне», но обещано, что «...тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу



славы детей Божиих» (Рим, 8, 22–21). Очевидно, это имеет в виду В. С., когда пишет:

*Лучше вы сами послушайте слова, –  
Доброе слово для вас я припас:  
Божьей скотинкою сделаться снова,  
Милые черти, зависит от вас.*

Античным богам, античной красоте не дано было покорить морскую нечисть. Но и на них найдется великая сила: необоримая ничем «красота неземная».

*Знайте же: Вечная Женственность ныне  
В теле нетленном на землю идет.  
В свете немеркнущем новой богини  
Небо слилось с пучиною вод.  
...К ней не ищите напрасно подхода!  
Умные черти, зачем же шуметь?  
То, чего ждет и томится природа,  
Вам не замедлить и не одолеть...*

В то, что вся природа ждет Преображения, Соловьев верил свято. Наслаждаясь видимой красотой, как все мы, он прозревал за ней еще большую, непостижимую, в лучах небесной славы.

*Природа с красоты своей  
Покрова снять не позволяет,  
И ты машинами не вынудишь у ней,  
Чего твой дух не угадает –*

первое из известных нам стихотворений поэта.

О финском озере Сайма он писал так восторженно и проникновенно, что кое-кто из читателей вообразил: у него роман с молодой финкой! Вот одно из этих стихотворений:

*Вся ты закуталась шубой пушистой,  
В сне безмятежном, затихнув, лежишь.  
Веет не смертью здесь воздух лучистый,  
Эта прозрачная, белая тишь.  
В невозмутимом покое глубоком,  
Нет, не напрасно тебя я искал,  
Образ твой тот же пред внутренним оком,  
Фея – владычица сосен и скал!  
Ты непорочна, как снег за горами,*

*Ты многодумна, как зимняя ночь,  
Вся ты в лучах, как полярное пламя,  
Темного хаоса светлая дочь!*

Природа и была для него светлой дочерью темного хаоса, вызванной к жизни из небытия вечными, не дремлющими никогда духовными силами. Он легко вступал с ними в контакт. Он ожидал от них сверхприродных чудес.

Слыша повсеместный трепет мировой гармонии, он ни на миг не забывал о средоточии всех творящих сил – о Центре вселенной, который верующие и неверующие называют Богом. После Державина, пожалуй, никто в русской поэзии не создал таких пламенных гимнов Высшему Началу, как Соловьев. Проводником в эту сияющую, таинственную область веры и знания для него всегда оставалась Библия.

Так, сюжет стихотворения «В землю обетованную» излагает историю патриарха Авраама, родом из Ура Халдейского (Бытие, 12-13). В преклонном возрасте вышел он, по повелению свыше, из родных мест, чтобы после долгих приключений достигнуть земли Ханаанской и жить на ней.

Почему в 1886 году признанный философ, но не очень уверенный в себе поэт написал эти стихи? Может быть, хотел еще раз напомнить расслабленным в смысле веры современникам, какова она бывает в идеале? Не отделяя себя от русской интеллигенции, он судил о ней трезво и сурово, предостерегая, подстегивая: «Мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, – мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира изо всякой узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую высшую действительность» (Публичная речь «Три силы»).

Богу нужно от человека одно: то самое, что потребовал Он от Авраама:

*Мой завет сохрани:  
Чистым сердцем и крепкой душой.  
Будь Мне верен в ненастье и в ясные дни,  
Ты ходи предо Мной  
И назад не гляди,  
А что ждет впереди –  
То откроется верой одной...*

Семнадцатая глава Первой Книги Моисеевой Бытие, перефразированная автором, начинается так: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен...»

Не исключено, что у поэта был еще один побудительный мотив. Соловьев, за которым прочно закрепилось имя юдофила, в отличие от не менее распространенного в истории имени юдофоба<sup>16</sup>, стремился напомнить забывчивым соотечественникам, где исток их национального благочестия:

*Се, Я клялся собой,  
Обещал Я, любя,  
Что воздвигну всемирный Мой дом из тебя,  
Что прославят тебя все земные края,  
Что из рода потомков твоих  
Выйдет мир и спасенье народов земных.*

«Мир и спасенье народов земных» — это Иисус Христос. Евангелие называет Его «Сыном Давидовым», «Сыном Авраамовым» (Мф. 1, 1). Но у Него есть еще одно имя: Имману-Эль, или в более привычном написании Еммануил. Произнесенное ветхозаветным пророком Исайей (7, 14), это имя через несколько столетий отозвалось в первой же главе Нового Завета. В Евангелии от Матфея, после рассказа об обручении Девы Марии и Иосифа, узнавшего вскоре, что Она «имеет во чреве от Духа Святого» и пожелавшего отпустить ее без огласки, читаем: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».

Менее всего стихотворение Соловьева «Имману-эль» походит на невозмутимое переложение двух библейских мотивов. В нем такой внутренний жар, такой подъем, такая уверенность в присутствии Божиим всегда, везде, и в сей миг, и рядом с нами, маловерами, что, по-моему, оно способно заразить верой и последнего скептика, и закоренелого атеиста, и унылого агностика<sup>17</sup>.

*Да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,  
Не за пределами бесчисленных миров,*

---

<sup>16</sup> Для нас привычнее «антисемит».

<sup>17</sup> Тот, кто не признает и не отрицает существование Творца, по принципу «мое дело — сторона».

*Не в злом огне, и не в дыханье бурном,  
И не в уснувшей памяти веков.  
Он здесь, теперь, – средь суеты случайной,  
В потоке мутном жизненных тревог  
Владеешь ты всерадостною тайной:  
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!*

Стихотворение под латинским названием «Ex Oriente lux» – «С Востока свет» – тоже восходит к Евангелию, к волхвам, которые пришли в Иерусалим, чтобы узнать, «Где родившийся Царь Иудейский?» Ибо «видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 2).

Поэт остро болел разобщенностью Востока и Запада и считал, что «свет христианства» в силах упразднить их взаимное непонимание. Но каким образом, если исторически Восток – это «один господин и мертвая масса рабов», а Запад с его «разумом и правом» столетиями бряцает оружием?

*Чего ж еще недоставало?  
Зачем весь мир опять в крови?  
Душа вселенной тосковала  
О духе веры и любви!  
И слово вещее – не ложно,  
И свет с Востока засиял,  
И то, что было невозможно,  
Он возвестил и обещал...*

Участие Души вселенной в этом чаемом событии не вызывает вопросов. Ведь в Софии, Божией Премудрости, заключен центр всеединства!.. Но, как любит повторять наш фольклор, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». В 1890 году, когда родились эти стихи, В. С. еще надеялся, что роль мирового посредника возьмет на себя Россия, Высшим Провидением назначенная на эту роль, даже чисто географически. Однако и тогда не было ему покоя, не было в нем убежденности, что так все и будет, что свет с Востока, христианство, возьмет верх в самой России:

*О Русь! в предвиденье высоком  
Ты мыслью гордой занята;  
Каким ты хочешь быть Востоком:  
Востоком Ксеркса иль Христа?*

Увы, Ксеркс, древнеиранский царь, символ безграничной власти и жестокости, на весах истории перевесил Того, Кому были вручены

изначально, «прежде всех век», как явствует из Символа веры, «мир и спасенье народов земных».

Тень Ксеркса витает над миром и сейчас, диктуя свои правила и обычаи, противные евангельскому духу.

В статье о поэзии А. К. Толстого, которого Соловьев очень любил, он снова возвращается к противобогу Ксерксу. Размышляя о патриотизме, истинном, как у А. К. Т., и ложном, он пишет: «Что может быть сильнее того патриотизма, который заставлял персидских вельмож чинными рядами бросаться в море, чтобы спасти корабль Ксеркса? Но такой патриотизм, будучи сопряжен с рабским духом, не спас, а погубил персидское царство».

Свобода духа как Божий дар, которым грех не воспользоваться, губительность для человека и человечества рабской психологии – мы уже говорили об этом, в частности в предыдущей беседе. Соловьева связывало с Алексеем Константиновичем не только духовное родство. Судьба распорядилась так, что толстовские имения, «Красный Рог» на Брянщине и «Пустынька» под Петербургом, на протяжении ряда лет как магнитом притягивали его к себе. Хозяин к тому времени уже покинул наш бранный мир, и к его пенатам влекли философа две женщины, две Софьи, одну из которых он чтит, а в другую был влюблен.

Можно представить себе, как трепетало мистическим восторгом его сердце при одном лишь звучании их имен. Не иначе как София-Премудрость направила его на этот путь. Софья Андреевна Толстая оставалась гостеприимной хозяйкой, интереснейшей собеседницей. Племянница ее, Софья Петровна Хитрово, была замужем, имела детей; башмачок ее сына Владимир Сергеевич одно время носил на груди как ладанку. Его многолетняя очарованность земной женщиной, как всегда, кончилась ничем, точно Та, небесная, так и не захотела им делиться...

Софье Хитрово посвящено много стихов. Ее «бумаги» – ценный источник для изучающих поэзию Соловьева. Одно из антологических соловьевских стихотворений «Бедный друг, истомил тебя путь...» тоже, вероятно, связано с ней; впрочем, у поэта было немало увлечений. Состояние, когда «Серебряные нити/ Идут из сердца в область грез», было ему хорошо знакомо.

*Бедный друг, истомил тебя путь,  
Темен взор, и венки твой измят.  
Ты войди же ко мне отдохнуть.  
Потускнел, догорая, закат.  
Где была и откуда идешь,  
Бедный друг, не спрошу я, любя;  
Только имя мое назовешь –  
Молча к сердцу прижму я тебя.*

*Смерть и Время царят на земле, –  
Ты владыками их не зови;  
Все, кружась, исчезает во мгле,  
Неподвижно лишь солнце любви.*

Владимир Соловьев умер в 1900 году, сорока семи лет отроду, как раз на пороге кровавого XX века. Теперь уже не суть важно, какие именно исторические силы представлялись ему главным источником неотразимых бед. «Ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких не знала история» – пророчествовал он. Все, что грозит роду человеческому расчеловечиванием, расхристианизацией, собрано им в образе Противобога. Небольшая «Краткая повесть об Антихристе» входит в последнее его сочинение «Три разговора».

Но знаменательная концовка приведенных выше стихов может служить ключом ко всему творчеству Владимира Сергеевича, к его светлому, особенно на фоне туманного третьего тысячелетия, благородному облику.

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ  
«Ты победил, Галилеянин!»  
(К. Р.)

Мне было лет тринадцать, когда по радио прозвучал романс, почему-то остановивший внимание моего отца.

*Растворил я окно, – стало грустно невмочь, –  
Опустился пред ним на колени,  
И в лицо мне пахнула весенняя ночь  
Благовонным дыханьем сирени.  
А вдали где-то чудно так пел соловей;  
Я внимал ему с грустью глубокой  
И с тоскою о родине вспомнил своей;  
Об отчизне я вспомнил далекой,  
Где родной соловей песнь родную поет  
И, не зная земных огорчений,  
Заливается целую ночь напролет  
Над душистою веткой сирени.*

- Знаешь, чьи это стихи? – спросил отец.  
– Пушкина? Майкова? Никитина? – гадала я, называя имена известных мне в ту пору поэтов.  
– Нет, это К. Р., Константин Романов, дядя последнего русского царя.

«Последний царь» жил для меня во «времена Веспасиана», как выразилась Ахматова, а «дядя царя» вообще был абстракцией. Но стихи понравились, запомнились; круг любимых поэтов разомкнулся, чтобы впустить еще одно имя, странное имя из двух букв... Кончилось мое отрочество, прошла юность, перевалила через пик зрелость – понадобилось много времени, чтобы имя К. Р. было возвращено русской культуре.

Он жил на берегу Невы, в Мраморном дворце, рядом с Зимним дворцом. Потомственный моряк, участник русско-турецкой войны, кавалер ордена Св. Георгия (за храбрость), в молодости объехал мно-

жество стран: посетил Италию, Грецию, Палестину, побывал в Африке и США. Его невестой стала принцесса Саксен–Альтенбургская, герцогиня Саксонская Елизавета. В 1883 году, когда состоялась их помолвка, а вскоре и бракосочетание, великий князь Константин Константинович написал стихотворение, определившее весь его последующий путь – человека, поэта, гражданина:

*Я баловень судьбы... Уж с колыбели  
Богатство, почести, высокий сан  
К возвышенной меня манили цели, –  
Рождением к величью я призван. –  
Но что мне роскошь, злато, власть и сила?  
Не та же ль беспристрастная могила  
Поглотит весь мишурный этот блеск,  
И все, что здесь лишь внешностью нам льстило,  
Исчезнет, как волны мгновенный плеск.  
Есть дар иной, божественный, бесценный,  
Он в жизни для меня всего святей,  
И ни одно сокровище вселенной  
Не заменит его душе моей:  
То песнь моя!..*

Стихи К. Р. стали выходить в печать, а потом и в свет с 1882 года, когда автору не исполнилось и двадцати пяти. И, вероятно, не столь уж многих читателей увлекла их открыто религиозная направленность. Впрочем, Ветхий и Новый Заветы для молодого Романова – это прежде всего авторитетный источник для осмысления собственной судьбы, указующий перст, дабы утвердиться в призвании, укрепиться в вере. Ну, а разве мы, смертные не царского происхождения, не решаем те же проблемы?

Царь Давид, необъятная библейская фигура, интересует К. Р. с определенной стороны: как певец псалмов, поэт, коллега. В Первой Книге Царств юный Давид успокаивает игрой на гуслях («псалтерионе») духовно занедужившего царя Саула: («...и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» – читаем в 23 стихе 16 главы. У Романова: «О царь! ни звучный лязг мечей,/ Ни юных дев лобзанья/ Не заглушат тоски твоей/ И жгучего страданья!/ Но лишь души твоей больной/ Святая песнь коснется, –/ Мгновенно скорбь от песни той/ Слезами изольется». Такова сила поэзии! Может быть, никто из русских поэтов так не чувствовал свое поэтическое недостоинство, ограниченность своих сил, как герой нашей беседы. Ведь он судил себя по высшей мерке, брал за образец царя Давида! Вот откуда: «Что же, наконец, есть во мне хорошего? Я талантливый поэт? Но и с этой стороны прорех немало; не хватает мне глубли-



ны мысли, воображения, силы. Иногда просто руки опускаются, как вдумаясь в свою несостоятельность...» (дневниковая запись от 5 ноября 1888 года).

Но даже литературное призвание, одно из многих призваний Константина Романова, – он успешно командовал двумя полками, Измайловским и Преображенским, был президентом Императорской Академии Наук, играл в любительских спектаклях и пр. и пр., – меркло в его глазах перед требованиями веры. Вере придавал он главенствующее значение, отличаясь этим от всей пишущей стихи братии, кроме, пожалуй, Василия Андреевича Жуковского.

Итак, требования веры... К своему стихотворению «Из Апокалипсиса» К. Р. ставит эпиграфом 20-й стих из третьей главы: «Се стою при дверех и толку...» На современном русском он звучит так: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». А вот и сами стихи:

*Стучася, у двери твоей Я стою:  
Впусти Меня в келью свою!  
Я немощен, наг, утомлен и убог,  
И труден мой путь и далек.  
Скитаюсь я по миру беден и нищ,  
Стучуся у многих жилищ:  
Кто глас Мой услышит, кто дверь отперет,  
К себе кто Меня призовет, –  
К тому Я войду и того возлюблю,  
И вечерю с ним разделю.  
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, –  
Я силы прибавлю тебе;  
Ты плачешь, – последние слезы с очей  
Сотру Я рукою Моей,  
И буду в печали тебя утешать,  
И сяду с тобой вечерять...  
Стучася, у двери твоей Я стою,  
Впусти Меня в келью свою!*

Не будь прописных букв, можно было бы подумать, что это поэт или его лирический герой жаждет иметь приют телу и душе, бредит теплом человеческого общения... Со слуха, особенно между делом, стихи так и воспринимаются, я пробовала их на двух-трех знакомых. Ничего похожего не вкладывал в эти слова автор! Потому что они принадлежат Христу. Апокалипсис, или Откровение, и есть Откровение Христа. Это Он через любимого ученика Иоанна обращается к ангелам разных Церквей, к самим Церквам, к сообществам верую-

ших каждой Церкви – в конечном счете, к нам с вами. Разве не касается нас упрек, высказанный Христом «Ангелу Лаодикийской церкви»: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откровение. 3, 15,16).

Слова, выбранные К. Р. для эпитафии, стоят лишь несколькими стихами ниже. Но, верный гуманной традиции родной литературы, поэт остановился не на Христе взыскующем, а на Том, уже знакомом нам по Тютчеву, что «в рабском виде» исходил всю родную нам землю, что стучится в каждое сердце, да редко Ему отворяют. Вот и чувствует Он Себя изгоем...

Как бесприютный странник, «немошен, наг, утомлен и убог» – слова те же самые или близкие им по смыслу находим в Евангелии: «Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36). Говоря это, Христос предвидит удивление «праведников»: «Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?» (25, 38). И отвечает им замечательно – две тысячи лет Его слова не стареют, не увядают: «... истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (25, 40)

Пусть все это остается «за скобками» стихотворения К. Р. «Из Апокалипсиса», – это его этический фон, хорошо знакомый читателям поэта. Обращение к Библии дает возможность такой расшифровки стихов, которая открывает все смыслы, сознательно или бессознательно вложенные автором в его детище.

Сам Константин Романов стремился жить, следуя евангельскому завету: «... как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7, 12). Люди! – без различия чинов, званий, происхождения. Не потому ли среди поэтов, оказавших на него сильное влияние, не только служитель Красоты Фет, но и плакальщик народный Некрасов. Будучи полковым командиром, К. Р. не понаслышке знал, какова она, солдатская доля. Недаром его стихи на эту вековую тему «Умер, бедняга!..» стали народной песней.

А вот еще одно поэтическое «посещение» «брата меньшего»:

*Уволен! Отслужена служба солдата,  
Пять лет пронеслись, словно день;  
По-прежнему примет родимая хата  
Его под радушную сень.  
Там ждет не дождется жена молодая,  
Там ждут и сынишка, и мать...*

«Уволен» – печальный рассказ о возвращении солдата в дом, которого нет. Читая его, невольно вспоминаешь песню послевоенных

лет на слова Исаковского «Враги сожгли родную хату... У К. Р. «хата» на месте, но остальное пугающе похоже, хотя никакими врагами не пахнет, хотя более полувека миновало и огненный смерч революций и войн взметнулся между этими двумя картинами.

*...И все с каждым шагом растет нетерпенье...  
Вот, вот она, хата его!  
Но что это значит? В каком разрушенье:  
Дверь настезь, внутри – никого;  
Повыбиты стекла, свалились ворота...  
Но что же жены не видать?  
Иль, может, нашлась ей какая работа,  
А с ней и сынишка, и мать?*

Помните, как заканчивает свою скорбную солдатскую повесть советский поэт: «Хмелел солдат, слеза катилась,/ Слеза несбывшихся надежд,/ И на груди его светилась/ Медаль за город Будапешт». Я не умаляю значения великой песни с трудной судьбой. Поэтически это очень сильно. Ну а этически? Без-на-де-га!

У горячего верующего, каким всю жизнь оставался К. Р., есть мощный аргумент:

*Смеркалось... Ударили в церкви к вечерне,  
И тихий послышался звон.  
Лились, замирая вдали, эти звуки,  
Как зов милосердный Того,  
Кто дал человеку душевные муки  
И в горе утешит его.*

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины...» – произносим мы в молитве. В Евангелии от Иоанна (14, 16) Христос говорит: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во век...» Загадочное место Библии. Другого Утешителя мы не знаем. Царь Небесный у нас один. И Утешитель он еще и потому, что Им обещана жизнь вечная.

«Что вы нам сказочки рассказываете?!» – голос то ли со стороны, то ли из собственного подполья. Трудно поверить в обетование бессмертия. Слишком назойлива, попросту нагла смерть: во все щели лезет. Слишком зыбка наша вера. Даже имея ее, охраняя ее, как горящий огонек от порывов ветра, как полезешь с утешением к другому человеку, недавно пережившему жуткую утрату? «И только верой в Воскресенье/ Какой-то указатель дан...» – за многих сказал целомудренно, как всегда, но с неоспоримо-убедительной интонацией Борис Пастернак.

Теперь, когда незнакомец К. Р. хоть сколько-то приблизился к нам, пора перейти к главному его произведению – стихотворной драме «Царь Иудейский». Поэт взялся за этот неподъемный труд, напутствуемый Петром Ильичом Чайковским; тот советовал ему «с евангельской простотой и почти буквально придерживаясь текста», рассказать стихами о последних земных днях Христа.

Наказ композитора он выполнил. Трудно назвать другое литературное произведение, где так бережно сохранен первоисточник, так естественно вливаются в речи персонажей прямые или скрытые цитаты из Писания. Вместе с тем это не «цитатник» – упаси Бог! Это и не средневековая, сугубо религиозная мистерия, какие представлялись на сцене по большим праздникам. На библейской заваске всходит живое, дышащее, современное автору театральное действо.

Само название «Царь Иудейский» взято из Книги книг. В Евангелии от Матфея оно звучит горько-иронически. Повествуется о том, как «воины правителя», то есть Пилата, «сплетши венец из терна», возложили его на голову плененного Иисуса и, становясь перед ним на колени, разумеется, в насмешку, издевательски говорили: «...радуйся, Царь Иудейский!» (27, 29).

В Евангелии от Марка с некоторой долей иронии, но не зло называет так Христа сам прокуратор: («Пилат спросил Его: «Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь» (15,2). Когда настал момент отпустить ради праздника иудейской Пасхи одного узника, тот же Пилат на полном серьезе обращается к толпе: «...хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (15, 9). Я, мол, знаю, кто есть кто, а вы со своим «царем» сами разбирайтесь. Но чернь, как всем памятно, Иисусу предпочла разбойника Варавву.

И в Евангелии от Иоанна возникает это драматическое словосочетание. Действие происходит уже на Голгофе: «Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. (...) Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Пилат отвечал: что я написал, то написал» (19, 19-22).

Так ставит он точку в конце этой неприятной истории, не подозревая, что у нее, как у Вселенной, нет ни конца, ни края...

В драме «Царь Иудейский» Христос не присутствует. Он, как сказали бы мы теперь, остается «за кадром». Но дух Христов здесь, с нами, читателями и зрителями конца XX столетия от Рождества Его... О Христе страстно спорят Его ученики, разноречиво толкует народ, в божественность Христа жаждет уверовать жена Понтия Пилата, знатная римлянка Прокула, а сам он, слабый человек, чья с трудом устроенная карьера может рухнуть в провинциальной Иудее, предает на казнь не Бога, – его изощренный радио Христа – Истину не прием-

лет, – но невинного, что делать ему, очевидно, не хотелось бы. Да и жена с презрением отдаляется от него, а это всего больнее...

Известное в христианской традиции имя Прокулы в Новом Завете отсутствует. Однако в Евангелии от Матфея сказано: «Между тем, как сидел он (Пилат – Т. Ж.) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (27, 19).

Для христианки «пострадать во сне» и делать из этого далеко идущие выводы – не значит ли предаваться суеверию? Для Прокулы это – естественный ход вещей. Она – язычница, дочь блестящей, хотя и с духовной ущербинкой цивилизации, где гаданиям, снам придается колоссальное значение. Плотью она на земле, говорит о скачках в Риме, о модах, прикидывается веселой, беззаботной. А вот душа не сыта, душа «ищет божества» и, кажется, находит: это – Христос.

Многобожнице уверовать в Него непросто: об этом Прокула говорит своей наперснице, тайной приверженице Иисуса еврейке Иоанне:

*Я от тебя слыхала, Иоанна,  
О чудесах Его; но чудесами  
Меня не убедишь. И в Риме также  
Мы о чудесных слышим исцеленьях  
При храмах Эскулапа иль Изиды.  
Мне доводы нужны сильнее этих,  
Чтобы уверовать могла я смело  
В Его божественность...*

Внутренний путь от безверия, через маловерие, к вере, пережитый Прокулой, и есть психологическая пружина действия драмы. Только ли ей суждено пройти этот путь? Многие ли приходят в мир готовыми христианами? Популярная актриса Виктория Лепко (пани Каролинка из «Кабачка 13 стульев»), сыгравшая Прокулу в московском театре «Вернисаж», признает: роль ее переродила, укрепила в вере предков. И, наверное, не ее одну – так заразительно звучал в исполнении актрисы заключительный монолог супруги Пилата:

*Ужели вы не поняли еще?  
Ужель сердца у вас окаменели?  
О, Понтий! Боязливо, малодушно  
Ты неповинного послал на смерть.  
...Он, праведник, Он, посланный нам с неба,  
Он, солнце истины и Божий Сын,  
Повис, простертый на кресте позорном.  
И вы дивитесь, что померкло солнце,*

*Что молнии во мраке заблестали,  
Что разразился грозный гром небес,  
Что в ужасе тряслись земные недра. –  
Я верую!..*

В Евангелии находим прообразы: «...и земля потряслась; и камни расселись» (Мф. 27, 51), «В шестом же часу настала тьма по всей земле...» (Мк. 15, 33), о том же у Луки (23, 44), где прямо сказано (45): «И померкло солнце...»

Два персонажа выделяются в драме из сонма действующих лиц: Иосиф и Никодим. Оба взяты из Евангелия, сохранена основа характеров, взглядов, отношений с Учителем. Но многое и домыслено автором. Иосиф из Аримафеи – воплощенная любовь к Христу, бесстрашная верность Ему. Это он попросит у Пилата тело Иисусово, и получит, и положит в своем склепе, «где еще никто не был положен», о чем подробно сообщают евангелисты: и Матфей (27, 57–59), и Марк (15, 43–46), и Лука (23, 50–53). У Луки подчеркнуто, что Иосиф – человек «добрый и правдивый», «ожидавший также Царствия Божия».

Образ Никодима в Евангелии от Иоанна очень важен и весьма сложен. Он весь в сомнениях. Вопрошает Христа, «как это может быть?» (Ин. 3, 9), когда что-то ему неясно. Желает сам докопаться до истины. Ничего не берет на веру. Один из фарисеев, «один из начальников иудейских», Никодим приходит к Учителю ночью, чтоб его не увидели, не «засекли», как сказали бы теперь. Это в разговоре с Никодимом Христос произносит слова, давно ставшие крылатыми: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух», «Дух дышит, где хочет»; «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.» (Ин. 3, 6, 8, 19).

У К.Р. спор идет, прежде всего, между Иосифом и Никодимом, – такую вольность он себе позволяет, – и суть его выражается следующим диалогом:

*И о с и ф : Ты чудотворца видишь в Иисусе  
И все ж Мессию в Нем не признаешь?*

*Н и к о д и м : В том глубина страданья моего,  
Что сердцем я давно Его признал,  
Но ум и знание не допускают  
Уверовать в любимую мечту...*

Можно без преувеличения сказать: этим дебатам две тысячи лет! Но спор идет еще дальше: в него вовлекаются Пилат, Прокула, другие

люди, толпа. Однако, как бы ни разыгрывалась фантазия поэта-драматурга, слова пьесы вновь и вновь возвращают нас к Библии. Никодим: «Но в мире тьма была милее людям, / Чем свет, затем, что злы дела их были. / Творящий злое ненавидит свет» (сравните с тем, что я приводила несколькими абзацами выше!). Иосиф Никодиму после казни Христа: «Раскрой же свиток. / К чему Мне множество всех ваших / Кровавых жертв? Так говорит Господь. / Я всесожженными овнов и туком / Откормленных пресытился тельцов. / Не нужно Мне всей этой крови агнцев...» (сравните с Книгой Исаии. 1. 11).

Недаром у Распятия звучат слова из Ветхого Завета. Веками, тысячелетиями обоим Заветам – неразрывно – суждено быть под одной обложкой!

Исключительно мастерству автора обязаны мы тем, что почти буквальные заимствования из Библии не выглядят в тексте заплатами, – скорее их можно сравнить со стрелками указателей: в каком направлении двигаться. Да и в мастерстве ли тут дело? Автор настолько жил в Священную книгу, что уже и мыслит ее категориями, чувствует себя в языковой среде синодального перевода как у себя дома...

Толпа в драме «Царь Иудейский», как и в Евангелии, как и в истории человеческой, пестра, противоречива, непредсказуема. Тут много искренних людей, иудеев преимущественно, которые преклоняются перед Христом; хватает и его недругов. Толпа, как известно, не народ, но некоторое представление о народе дать может. О лучшей части еврейского народа с уважением говорит своей наперснице Прокла: «Я ехала со страхом в Иудею; / Здесь думала лишь варваров найти я, / Непримиримых мрачных изуверов. / Но вот Иосиф встретился мне здесь, / Сошлась я и с тобою, Иоанна...»

Диалог Пилата с Префектом также служит выяснению истины:

*П и л а т : ...Здесь народ  
Строптивый, мстительный, упорный, склонный  
К раздорам, проискам и мятежу.*

*П р е ф е к т : Не каждый ли народ имеет свойства  
Хорошие с дурными вместе? Должно  
Из первых пользу выжимать, вторые ж  
С терпением умело подавлять...*

Вспоминаются слова Апостола Павла из Послания Римлянам: «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак (...) Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал...» (11. 1–2).

Уличного, ширпотребного «Евреи (а чаще – жида) Христа распяли» у К.Р. нет и в помине! Ведь он верен духу Евангелия! Что происходит сейчас, когда Константин Романов издается, ставится на сце-

не, когда громогласно называется имя автора романсов, долго бывших анонимными? Время от времени славное имя великого князя становится предметом спекуляций политического и шовинистического толка. Сам он никаких оснований для этого не давал и не дает.

«Царь Иудейский» в целом был закончен, как следует из записи поэта, на Святой неделе, 6 апреля 1912 года. У пьесы оказалась непростая, в чем-то парадоксальная судьба. Синод не разрешил ее постановку, считая, что смерть и Воскресение Бога не предназначены для «лицедейства». Сыграна она была только в Царском Селе, причем роль Иосифа Аримафейского исполнял сам К.Р. Драма была переведена на несколько языков и поставлена... в Англии. В большое отечественное искусство прорвалась... после Октября. Ее играли в Малом театре, она шла в провинции, а в наши дни получила новую жизнь.

Перед первой мировой войной вышел роскошный том с полным текстом драмы, эскизами декораций, костюмов, с фотографиями участников царскосельского спектакля. Книга давно стала раритетом, но иногда ее можно купить в букинистических магазинах.

К. Р. умер в 1915 году, вскоре после того, как его сын Олег погиб на фронте. Страшные предчувствия мучили Константина Романова. Он записывал в дневнике: «Временами нападает на меня тоска и я легко плачу. Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф о Ниобее, которая должна была лишиться всех своих детей. Ужели и нам суждено это? И я стану твердить: «Да будет воля Твоя».

Немецкая пуля пощадила сыновей поэта, но в июле 1918 года трое из них, Константин, Иоанн и Игорь, были заживо сброшены в глубокую угольную шахту под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими несчастными, голубой и не голубой крови.

В интервью Феликса Медведева с ныне живущей под Нью-Йорком, в доме престарелых, Верой Константиновной Романовой («Аргументы и факты» № 1 за 1998г.), дочерью поэта К. Р., приводятся не известные мне ранее факты. 92-летняя, но памятливая, здравомыслящая Вера Константиновна, осколок большой и дружной семьи, рассказывает: «...в гнилой воде они еще три дня оставались в живых. У Константина во рту нашли землю – он грыз ее то ли от жажды, то ли от страшной боли...»

Тут я умолкаю. Тут только молитва поможет. Да еще, может быть, стихотворение К. Р., написанное «впрок», в доказательство правоты не сразу и не всем понятных слов Христа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16. 33).



Сраженный стрелой ассирийскою, пал  
Кесарь, отступник Христова ученья;  
В смертной тоске к небесам он воззвал:  
Ты победил, Галилеянин!  
Погиб Юлиан, враг Христова креста,  
Церковь свободна от злого гоненья.  
Снова воскликнули верных уста:  
Ты победил, Галилеянин!  
Расторгнем же сети порока и зла,  
К свету воспрянем из тьмы усыпления;  
Вновь да раздастся и наша хвала:  
Ты победил, Галилеянин!

## БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

### «Впереди Иисус Христос»

(А. Блок)

Своему другу-недругу, тоже Поэту, Андрею Белому Блок писал: «В Бога я не верю и не смею верить...» Известны его негативные высказывания о Христе, вере, церкви и даже церковных праздниках: Рождестве и Пасхе.

Вместе с тем по всему его творчеству, начиная с первой книги «Стихи о Прекрасной Даме» и кончая поэмой «Двенадцать», разлито сильное религиозное чувство. Изучаются пометы Блока, сделанные им в Библии, – ныне она хранится в Пушкинском доме. Судя по ним, из евангелистов его больше всего волнует Иоанн, автор IV Евангелия, трех Посланий и Откровения (Апокалипсиса). К драматической поэме «Песня судьбы» (1908г.) Блок ставит эпитафией слова именно Иоанна Богослова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» (1 Ин. 4,18). Апокалипсические настроения с их неотвязной тревогой за судьбы мира и мистической надеждой на «новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21.1) никогда не покидают поэта. Цитаты из Священного Писания, обычно слегка видоизмененные, властно входят в блоковские тексты.

Его современники задавали себе вопрос: так с кем же он, Александр Блок, с Христом или с Антихристом? Потом десятилетиями такой вопрос вообще не возникал, во всяком случае, по эту сторону российских границ, – только вокруг образа Христа из поэмы «Двенадцать» велись вялые споры. Этот вопрос задаем себе и мы, заканчивая междувековой фигурой Блока нашу тему. Только любовь к поэту, взятая в проводники, может помочь нам взглянуть на рискованный предмет без страха ошибиться. Ибо «совершенная любовь изгоняет страх», как сказал евангелист и счел необходимым повторить за ним наш великий поэт.

От «бекетовского» Шахматова Клинского уезда, Московской губернии, до «менделеевского» Боблова – рукой подать. Менделеевы и Бекетовы (материнская семья Блока) давно соседствуют, дружат.

У выдающегося химика Д. И. Менделеева и замечательного ботаника А. Н. Бекетева множество общих интересов, один и тот же круг общения. К тому же у первого подрастает дочь, у второго – внук... Однажды летом в Боблово приезжает на белой лошади семнадцатилетний Александр Блок, он же любимец своей семьи Сашура. На студенте юридического факультета белый китель, в руках у него стек. В березовой роще его занимает разговор ровесница Любовь Дмитриевна Менделеева. «Я был – франт, говорил изрядные пошлости», – много лет спустя признается Блок. Начинается любовь. Робкой поначалу, да и потом тоже, юношеской любви потребны хотя бы окольные пути выражения. Один из них, испытанный, – любительские спектакли. Дачный сарай приспособливается под театр. Ставятся сцены из «Горя от ума» (он – Чацкий, она – Софья), «Гамлет». Костюм Гамлета шьет Сашуре бабушка, сама писательница и переводчица. Любовь Дмитриевна, разумеется, Офелия... Молодые люди разыгрывают перед родными и приятелями вечную мистерию неутолимой любви. Они еще не знают, что с дачных подмостков она перейдет в их быт и бытие, перекорезит их судьбы, но зажжет на небосклоне русской поэзии новую ярчайшую звезду.

Петербург охлаждает юношеский пыл. После счастливого подмосковного лета, когда Блок был «страшно влюблен», наступает отдаление. И он, и она учатся, изредка встречаются то в театре, то на улице. Следующим летом, из-за «суровости» девушки, Блок вообще перестает ездить в Боблово. Влюбленность, загнанная внутрь, растет, принимает причудливые, мистические формы. Вероятно, суровость Любви Дмитриевны, по закону возмещения в творчестве недостающего в жизни, и породит образ Ласковой Жены, что скоро явится Блоку «в лучах божественного света». Ее недоступность, ее молчаливость, ее уклончивость, особенно когда речь заходит об их будущем, вызывают ощущение великой тайны. Земная любовь, не получая утоления здесь и теперь, устремляется в иные пределы.

Мне было столько же лет, сколько нашим героям, когда я впервые прочла:

*Я, отрок, зажигаю свечи,  
Огонь кадилный берегу.  
Она без мысли и без речи  
На том смеется берегу.*

«Почему «без мысли и без речи»? – мучилась я в догадках. – Что в этом хорошего?..»

Комментария в книге не было. Некому было разъяснить мне, что героиня стихов, предмет обожания и обожения, не нуждается в качествах отличницы, что вечно-женственное начало, которое в ней воп-

лощено (и которое до Блока так заразительно воспел поэт и религиозный философ Владимир Соловьев), превыше ума и тем более бедных человеческих слов. Она, вероятно, потому и «смеется на том берегу», то есть за гранью житейского, что в ней одной заключена вся мудрость мира, все начала и концы.

У современного читателя есть уникальная возможность: взять в руки толстый том<sup>18</sup>, куда встроено первое издание «Стихов о Прекрасной Даме», вышедшее на пороге 1905 года в книгоиздательстве «Гриф». Даже бумага такая же – кремово-желтоватая, цвета старинных почтовых «секреток».

Нельзя было распечатать такую «секретку», не порвав трех ее склеенных сторон. Распечатает же и мы одну из таинственных книг русской поэзии.

Молодой поэт творит сказку. Героиня стихов «росла за дальними горами», живет в тереме, рассыпает «кругом жемчуга». «Словно белая лебедь», за ней плывет «живая ладья». Все это образы именно русской сказки. Не тут ли верховье будущего могучего потока блоковской лирики, который можно окрестить одним словом: «Родина»? Впоследствии, более о России, Блок почти повторит тютчевские картины «бедных селений» и «скудной природы» (Тютчева он очень любил): «Избы серые твои», «а ты все та же – лес да поле»... Но тютчевского Христа, который «в рабском виде» исходил, благословляя, родную землю, почувствует всего раз или два. Иного Христа увидит он...

Да, только в сказках девушка оборачивается лебедью, лягушка – царевной и т.п. Возлюбленная поэта оборачивается Прекрасной Дамой. Помните стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный», подробно разобранные нами в беседе о Пушкине? Принято считать, что романтический пафос первой книги Блока – поклонение Идеалу, служение Чистоте и Красоте в образе Прекрасной Дамы – восходит к пушкинским стихам. Но едва ли можно ставить на одну доску единственное стихотворение и огромный цикл. К тому же у Пушкина «матушка Христа», «Пречистая» названа впрямую, без извилин, на читателя веет духом Средневековья, невольно думаешь, что бедный рыцарь – католик (почему и стихи эти иногда называют «католическими» – неправомерно, по-моему).

У Блока ничего подобного нет.

Религиозные мотивы в «Стихах о Прекрасной Даме» превалируют над сказочными: «Люблю вечернее моленье/ У белой церкви над рекой»; «Слышу колокол. В поле весна»; «Мой монастырь, где я томлюсь безбожно»; «Я – меч, заостренный с обеих сторон;/ Я правлю Архангел, Ее Судьбой»; «Крыльцо Ее, словно паперть» и т.п. Од-

---

<sup>18</sup> Собрание сочинений в 12 тт. Том 1. М. «Литера». 1995.

нако все эти образы скорее декоративны, чем религиозны по сути своей. Это – видения, игра оплодотворенной христианской культурой богатой фантазии.

*Я, изнуренный и премудрый,  
Восстав от тягостного сна,  
Перед Тобою, златокудрой,  
Склоняю долу знамена.  
Конец всеведущей гордыне, –  
Прошедший сумрак разлюбя,  
Навеки преданный Святыне,  
Во всем послушаюсь Тебя.*

О том, что Блок, поэт истинный, не всегда вел стих, а чаще был им ведом, он сам говорил неоднократно. Вот признание из письма к Любове Дмитриевне от 13 VI 1903 г., когда она уже стала его невестой: «Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, восстаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе».

«Гордость о Тебе» – это вроде бы и не грех даже. Это не та гордыня, торжествующая «самость», про которую все мы теперь знаем, что Христу она неужодна, Богу – отвратна. Но и «гордость о другом», то есть превозношение другого, может иметь, оказывается, роковые последствия.

Та «Светлая Жена», судьбой которой правит поэт, от которой ждет, что она, «поднявшись выше тлена», откроет свой «Лучезарный лик», – кто же она? Для земной женщины, пусть даже возлюбленной юного гения, такие слова, такие уподобления чрезмерны. Мы чувствуем это инстинктивно. Значит, в ней сокрыто надмирное начало?.. Соловьевцы (поклонники недавно скончавшегося Владимира Соловьева) прозревали в ней Божественную Мудрость, Святую Софию. Если помните, «Дщерь мудрости, душа богов» была когда-то объектом лиры Державина. Но у Соловьева она приобрела черты неборимой женственности, что воспринял и развил Блок. Кое-кто из современников по простоте душевной отождествлял блоковскую героиню с... Богоматерью. Но были и такие, что увидели в Прекрасной Даме некий перевертыш, максимально далеко отстоящий от своего прообраза.

В середине 80-х самиздат принес мне «Введение в творчество поэта», написанное хоть и с уважением к Блоку, но и с изрядной степенью нетерпимости, вызванной демоническими мотивами его ранней лирики. Вот что я извлекла оттуда: «Одна из основных тем Блока – о видении Прекрасной Дамы» – это искажение подлинного восприятия Богоматери святыми. «Хула на Богоматерь – существенный признак блоковского демонизма», при этом автор не забывает на-

помнить: «Литературно это от «Гавриилиады». В самиздате статья приписывалась Павлу Флоренскому. Тогда, честно говоря, я усомнилась в его авторстве: такой авторитет в богословии, в искусстве и такая односторонность! Журнал «Литературная учеба» (№ 6 за 90 г.) подтвердил его. Последние же исследования авторство Флоренского опровергают...

Блок точно провидит суровый суд мудреца, хотя прозвучал он уже после его смерти:

*Я к людям не выйду навстречу,  
Испугаюсь хулы и похвал.  
Пред Тобою одною отвечу  
За то, что всю жизнь молчал.*

Не странно ли: поэта обвиняют в хуле на святыню, а он, как явствует из стихов, сам как чумы бежит хулителей (и хвалителей). Характерная особенность блоковских тем о Прекрасной Даме, – развивает автор свою мысль, – «...изменчивость ее облика, встречи с нею не в храме только, но в «кабаках, в переулках, в извивах», перевоплощаемость Ее, Святой, в блудницу, «Владычицы вселенной, Красоты неизреченной», «Девы, Зари, Купины» – в ресторанную девку...»

В своих воспоминаниях о Блоке Надежда Павлович, поэт, работавшая в Пролеткульте, Наркомпросе и пр., передает интересный для нас разговор с Блоком: «... неожиданно спросил меня: «Что же, и вы думаете, что Прекрасная Дама превратилась в Незнакомку, а потом в Россию?» Я сказала: «Когда-то, давно – да. А когда поняла, – конечно, нет». А. А. улыбнулся: «Ну, конечно, я знаю, что вы так не думаете... А то я, как услышу от кого-нибудь о превращениях, так махаю рукой и отхожу... Значит, ничего не поняли!»

Так поэт сам снимает вопрос о хуле на одну из главных христианских святынь. По-моему, автор «Стихов о Прекрасной Даме» впадает в другой грех – грех, знакомый и самым мелким, и самым возвышенным душам: творит себе кумира. Из соседки по имению, златокудрой девушки, с чудесным цветом лица, полнотелой, полнокровной, этаким рубенсовской красавицы. «Не сотвори себе кумира» – библейская заповедь, ведомая и тем, кто ни разу не открывал Библии. И не поклоняйся ему, как божеству, – естественно вытекает из этого.

К чести Любови Дмитриевны, она, как может, противится своему обожению. Ищет Бога, ищет исхода для своих и Сашиных религиозных чувств. Созидание в душе высших ценностей помогает нам лучше понять тщету подмены.

Подкупает своей достоверностью ее рассказ о том, как однажды забрела она в петербургский Казанский собор (очевидно, семья великого химика не злоупотребляла церковностью): «Я не подошла к

богатой и нарядной, в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше – за колоннами – остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя–тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская...»

Нам не просто представить «демонического» Блока на «каменной скамье» под окном, около Казанской иконы Божьей матери, рядом с той, кому он приписывал некоторые ее черты. Но он там сидел. Более того: у него родились прозрачные стихи о посещении храма – только не им самим, а девушкой, вероятно, Любой. Стихи написаны от женского имени: «Медленно в двери церковные/ Шла я, душой несвободная.../ Слышала песни любовные,/ Толпы молились народные./ Или в минуту безверия/ Он мне послал облегчение?/ Часто в церковные двери я / Ныне вхожу без сомнения...»

Среди привычно-надзвездных строк той поры вдруг мелькнет:

*Не бойся умереть в пути.  
Не бойся ни вражды, ни дружбы.  
Внимай словам церковной службы,  
Чтоб грани страха перейти.*

Мы начали с того, что страх изгоняется любовью. Но вот назван еще один гонитель страха: вера. И вера воцерковленная.

Получив согласие Любви Дмитриевны на брак с ним (ждал его четыре года), Блок пишет стихотворение «Все кричали у круглых столов» и сообщает невесте: «Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа – из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под твоим влиянием. Часто я хочу теперь всех простить...»

Стихи неожиданны для молодого Блока. Вакханалию сборища среди «винных паров» нарушает «девушка в углу», которую «кто-то» вызывающе нарекает «моя невеста». Ничего условно-поэтического. Реальная, даже грубая картина жизни. Невеста, сменив заглавную прописную на строчную, оказалась среди тех, земных и грешных, кого хочется простить.

«Нужно писать стихи и молиться Твоему Богу. А здесь нет Бога, его не видели здешние люди», – запальчиво напишет поэт своей невесте с немецкого курорта.

«Твой Бог» – так он, очевидно, именует Христа. Боясь замутить их возвышенную любовь земными страстями, полугодием раньше Любовь Дмитриевна писала: «...лучше этой любви нет ничего на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев (...) реши беспристрастно, объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или комедия...» Девушка парит высоко: предла-

гает своему избраннику вопросы, на которые до сих пор ищут ответы блокovedы разных масштабов.

Интересно сравнить два стихотворения Блока, рожденные им в одно и то же время, с разницей в несколько дней. То, что я цитирую первым, помечено 8-м ноября, днем, когда Любовь Дмитриевна согласилась стать его женой:

*Я их хранил в приделе Иоанна,  
Недвижный страж, – хранил огонь лампад.  
И вот – Она, и к ней моя Осанна –  
Венец трудов – превыше всех наград.  
Я скрыл лицо, и проходили годы.  
Я пребывал в Служеньи много лет.  
И вот зажглись лучом вечерним своды,  
Она дала мне Царственный Ответ...*

Культ Прекрасной Дамы пока остается в силе: прописные заглавные буквы, молитвенный возглас «Осанна», пребывание «в Служеньи» – все заимствовано из религиозного обихода. «Придел Иоанна» – в данном случае скорее всего образ послушания и преданности: евангелист Иоанн, как известно, вернейший ученик Христа.

«Царственный Ответ» получен, но... В ожидании ответа, с тем же словом «Осанна» создается другое стихотворение с убийственно трезвыми строчками: «Ты святá, но я тебе не верю,/ И давно все знаю наперед...» Невозможно избавиться от ощущения, что влюбленный – «сумасшедший, распростертый ниц», как охарактеризован он в стихах, действительно, все знал наперед. Знал, что мечта обманет, «как всякая мечта», что кумир его рухнет с высот на землю, а земля отомстит своим неразумным детям за слишком своенравный и дерзкий полет.

Что же случилось с молодыми в реальном плане бытия? Не будем копать в чужих тайнах. «Похоть любознательности» – христианскому аскетизму знакомо и такое понятие. Поэт сам поставил границы нашему любопытству. Предназначенное для глаз и сердца читателей – в его стихах.

Я как раз работала над этой главой книги, когда почта принесла свежий номер газеты «Сегодня», где автор статьи «Смерть поэтов» (о Блоке и Гумилеве) ничтоже сумняшеся утверждает: «... построение жизни, как произведения искусства, на практике оборачивалось увесистым мистическим блудом. История с Прекрасной Дамой, ипостасью Св. Софии и ликом Пречистой Девы, являвшейся в быту крупнокостной бабищей Менделеевой-Блок (...) – это тоже плата за абсолютизацию священной жертвы».

Умничающему автору сей тирады невдомек, что, говоря о вдох-



новительнице Поэта словами подворотной тусовки, он сам впадает в блуд, не мистический, но словесный.

Через полгода после свадьбы Блок напишет несколько стихотворений–молитв. Самой замечательной из них мне представляется вторая «Ночная» (их две):

*Спи. Да будет твой сон спокоен.  
Я молюсь. Я дыханьем внемлю.  
Я грущу, как заоблачный воин,  
Уронивший панцирь на землю.  
Бесконечно легко мое бремя.  
Тяжелы только эти миги.  
Все снесет золотое время:  
Мои цепи, думы и книги.  
Кто бунтует, – в том сердце щедро,  
Но безмерно прав молчаливый.  
Я томлюсь у Ливанского кедра,  
Ты – в тени под мирной оливой.  
Я безумец! Мне в сердце вонзили  
Красноватый уголь пророка.  
Ветви мира тебя осенили...  
Непробудная... Спи до срока.*

Это и молитва на сон грядущий, и колыбельная любимой. Поэт отдает ей благую часть: мирную ветку оливы. Такую же ветку после потопа принес в клюве Ною выпущенный им голубь (Бытие. 8, 11). Себе же он оставляет томление «у Ливанского кедра». Мы еще не встречались с этим образом, – он также восходит к Ветхому Завету. Так в книге пророка Иезекииля сказано: «Он красовался высотой роста своего, длиною ветвей своих; ибо корень его был у великих вод»; «все дерева Едемские в саду Божиим завидовали ему». «За беззаконие его Я отверг его» – говорит Господь Бог устами пророка (Иез. 31. 3, 7, 9, 10). Теперь понятно, почему тот, кто томится в тени неугодного Богу кедра, – безумец. «Красноватый уголь пророка» в сердце поэта, известный нам по пушкинскому «Пророку», – еще одна, уже традиционная оглядка на Библию... Главное же в стихотворении – нота сурового примирения с действительностью. Но что думает о себе этот беззащитный «заоблачный воин», вооруженный лишь одним молчанием («тютчевским» – хочется добавить)? Переживая «тяжелые миги», в чем видит выход отбунтовавший «безумец»? «Бесконечно легко мое бремя...» – Блок чуть перефразировал слова Христа из Евангелия от Матфея (11.30): «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Те же слова, но в более широком евангельском объеме: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии – и Аз упокою вы. Ибо бре-

мя мое легко» – именно так, на старославянском, приводил он их в письме к Менделеевой, еще невесте. Сколько было передумано, пере-чувствовано с тех пор! А это – осталось.

Родственник и друг Александра Александровича, поэт, а в будущем священник и новомученик Сергей Соловьев писал, правда, по поводу других стихов («Вот он – ряд гробовых ступеней»): «Одного этого стихотворения довольно для принятия Блока «в лоно христианской церкви». Да, это так. Но одна ласточка еще не делает весны.

За два с половиной года до первой русской революции Блок написал стихотворение «Екклесиаст». Об этой книге Ветхого Завета мы подробно говорили в беседе о Боратынском. «Бысть Екклесиаст мудр» – блоковский эпиграф к стиху стоит в ряде публикаций. Что же привлекает поэта в его мудрости? Более чем вольно перекладывая 11-ю и 12-ю главу, Блок берет от библейского проповедника, может быть, самое главное: мысль об ужасе грядущего и неотвратимости ответа для каждого из землян. «Веселись, юноша, в юности твоей (...) только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» – сказано в 9-м стихе 11-й главы. «Благословляя свет и тень / И веселясь игрою лирной, / Смотри туда – в хаос безмирный, / Куда склоняется твой день» – рвется из-под пера поэта. Как и в Книге Екклесиаста, у Блока «миндаль цветет» и красота вокруг. Но все это недолговечно. Вещая тревога пронизывает и ветхозаветный текст, и стихи новейшего интерпретатора.

Смерть человека – не есть ли его частное светопреставление?

Давайте сравним! У Екклесиаста: «И запираются будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова (...) И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы» (12. 4,5). У Блока:

*Зачахли каперса цветы  
И вот кузнечик тяжелеет,  
И на дороге ужас веет,  
И помрачились высоты.  
Молоть устали жернова.  
Бегут испуганные стражи,  
И всех объемлет призрак вражий,  
И долу гнутся деревья.  
Все диким страхом смятено.  
Столпились в кучу люди, звери.  
И тщетно замыкают двери  
Досель смотревшие в окно.*

Эта эсхатологическая<sup>19</sup> тревога никогда уже не покинет Блока. Когда-то он принес на отзыв почтенному редактору, другу семьи, сти-

---

<sup>19</sup> Эсхатология – наука о конечных судьбах мира.

хи, навеянные живописью В. Васнецова, где ожили вещие птицы древних русских поверий – Гамаюн, Сирин, Алконост. И услышал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится!» Редактор высказал недовольство, которое в той или иной форме приходится выслушивать от людей «мига сего» людям, ориентированным на вечность; мыслителям, философам, поэтам. Блок предчувствовал не только то, что будет через пятнадцать, пятьдесят, сто лет, но заглядывал и за грань времен.

Еще до первой русской революции Блок написал странное стихотворение с такими строками:

*– Все ли спокойно в народе?  
– Нет. – Император убит.  
– Кто-то о новой свободе  
На площадях говорит.  
– Кто же поставлен у власти?  
– Власти не хочет народ.  
Дремлют гражданские страсти:  
Слышно, что кто-то идет.  
– Кто ж он, народный смиритель?  
– Темен и зол и свиреп:  
Инок у входа в обитель  
Видел его – и ослеп.  
Он к неизведанным безднам  
Гонит людей, как стада...  
Посохом гонит железным...  
– Боже! Бежим от Суда!*

Сразу вспоминается Лермонтов: «Настанет год, России черный год,/ Когда царей корона упадет...» Но у предшественника Блока, брата по духу, хоть и названа провидчески страна события – Россия, байронический флер («плащ его с возвышенным челом») все же окутывает образ «смирителя», «мощного человека», а стихам придает оттенок условности, книжности. У Блока все «взаправду». Характеристика властителя однозначна: «темен и зол и свиреп». Обратим внимание: выражение «Посохом гонит железным» заимствовано из Апокалипсиса (Откр. 12, 15). Оно встречается у поэта неоднократно. Напоминание о неизбежном Суде Божьем – одна из основных тем обоих Заветов. Новый Завет связывает его со вторым пришествием Христа. Все люди, живые и мертвые, предстанут перед Ним, чтобы дать отчет в своих поступках и даже мыслях. Не случайно в церкви на каждой утренней службе, священник от лица своей паствы просит «доброто ответа на Страшном судилище Христовом». Восклицание «Боже! Бежим от Суда!» звучит очень сильно именно потому, что от Высшего Суда убежать невозможно...

Наступает 1905 год. Смятение на улицах, смятение дома, в Семеновских казармах, где живут молодые Блоки (отчим поэта – военный), страшное Кровавое воскресенье. Блок пишет несколько стихов открытого гражданского звучания, в том числе злободневный «Митинг», но глядит, как всегда, в корень. Вот портрет оратора:

*Он говорил умно и резко,  
И тусклые зрачки  
Метали прямо и без блеска  
Слепые огоньки.  
Его движенья были верны,  
И голос был суров,  
И борода качалась мерно  
В такт запыленных слов.  
...И серый, как ночные своды,  
Он знал всему предел.  
Цепями тягостной свободы  
Уверенно гремел...*

Тут нет ни одного случайного слова, ни одной проходной фразы, все работает на образ героя и стихотворения в целом, и все вызывает вопросы. Знает ли оратор истину? Куда он способен повести поверивших ему людей? Не из тех ли он лжепророков, о которых Христос говорил: «Оставьте их, они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Но вот оратора убивает кто-то из толпы, и сразу меняется интонация стихов, смягчает, теплеет:

*И в тишине, внезапно вставшей,  
Был светел круг лица,  
Был тихий ангел пролетавший  
И радость без конца.  
...Как будто, спрятанный у входа  
За черной пастью дул,  
Ночным дыханием свободы  
Уверенно вздохнул.*

Человек убит – почему же «радость без конца»? Каждый может строить свои предположения. Мое таково: как бы немощен ни был оратор, он не о своем пекся, он душу свою готов был положить за друзей своих (Ин. 15, 13) и в свете посмертного воздаяния заслуживал высокого удела, что и позволило ангелу – пролететь, а поэту – возрадоваться.

Трижды возникало в последних цитатах слово «свобода». Сначала она «новая», потом «тягостная», потом ей даровано «ночное дыхание», но уже по ту сторону жизни.

В том же 1905-м, году Блок пишет еще одно стихотворение, где возникает «лик свободы»: «Вися над городом всемирным, / В пыли прошедшей заточен, / Еще монарха в утре лирном / Самодержавный клонит сон. / И предок царственно-чугунный / Все так же бредит на змее, / И голос черни многострунный / Еще не властен на Неве. / Уже на дóмах веют флаги, / Готовы новые птенцы, / Но тихи струи невской влаги, / И слепы темные дворцы. / И если лик свободы явлен, / То прежде явлен лик змеи, / И ни один сустав не сдавлен / Сверкнувших колец чешуи».

Прав Андрей Турков, автор одной из первых глубоких и достаточно объективных книг о Блоке (ЖЗЛ. 1969 г.): «...ощущение исторической исчерпанности самодержавия определяет всю структуру образов стихотворения...» Но ведь и свобода, по Блоку, — разумеется, политическая свобода, недостижима. «Лик змеи», явленный прежде «лика свободы», — очень емкий и грозный символ. Поэт не любил, когда на него навешивали ярлычок: «символист», но иные поэтические символы его стихов стоят трактатов и диссертаций.

Первое значение образа понятно, думаю всем: это та змея, на которую наступил «Медный всадник» Фальконета, слитый в единое существо, полукентавра, со своим конем. Далее многое зависит от читательского воображения. «Лик змеи» — это страшно; представляешь себе застывшую плоскую головку с глазами, что смотрят не мигая, гипнотизируют. Ничто не сдерживает эту ползучую тварь. Кольца чешуи уже сверкнули — значит, она или бросилась на врага или собирается это сделать. Возникает и знакомая ассоциация: дракон, стерегущий клад. То — в сказке. А в стихах (и в жизни) — змея стражницей у свободы.

В беседе о Пушкине я уже приводила слова Христа: «...познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Кажется, ничего не стоит эти слова оспорить, встать в позу Пилата: «Что есть истина?» Оспаривали их и ученики Христа. Две тысячи лет назад. Цитирую по Евангелию от Иоанна, любимому Блоком: «Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: «истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха; Но раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно; Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете...» (8. 33, 34, 35, 36)

Рабство у греха — это коротенькое словосочетание можно, наверное, отнести ко всей истории человечества. Но грех ширится, растет, выходит из берегов, собирает кровавую жатву особенно в эпохи смут, войн, революций, братоубийства, насилия человека над человеком. Не

потому ли так сгущена атмосфера в поэме «Двенадцать», что вестники «новой свободы», кому «на спину б бубновый туз» – значит, каторжники – преданы рабству греха откровенно до бесстыдства, едва ли не радостно, с полным ощущением безнаказанности, – революция все спишет.

*Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Катька с Ванькой занята –  
Чем, чем занята?..  
Тра-та-та!*

Это «Тра-та-та!», с которым дважды в поэме рифмуется «свобода без креста» (безбожная свобода) убийственно просто переходит в «Трах–тах–тах!» – треск выстрелов. Не забудем, что «двенадцать» хотят пальнуть пулей «в Святую Русь», другими словами, в душу души России. Быть может, величие поэта в том и заключается, что в капле мутной воды он видит будущий разлив человеконенавистничества и безбожия, патологической подозрительности, вечных поисков незримого врага. Все это скоро войдет в жизнь страны на десятилетия. Жертва у двенадцати пока одна: «толстоморденькая» Катька с «огневыми» глазами, блудница, не дождавшаяся Христа. Но кровь зовет новую кровь. Реплики типа: «Уж я ножичком/ Полосну, полосну!..», «Эх, эх!/ Позабавиться не грех!», «Неугомонный не дремлет враг» – гаранты того, что жертв будет много...

Не только школьники, но и вполне взрослые люди, кому еще недавно внушали, что двенадцать красногвардейцев – «рабочий народ», передовой отряд Октябрьской революции, – жаждут узнать наконец, с поправкой на сегодняшний день, «хорошие они или плохие». А если «плохие», о чем нетрудно догадаться, то почему их любил Блок, почему, выдохнув свою последнюю поэму в колючий, морозный, клубящийся воздух Петрограда 18-го года, записал с несвоейственной ему высокой самоаттестацией: «Сегодня я – гений»? К поэме мы еще вернемся в связи с образом Христа. А пока постараемся заключить тему свободы у Блока.

*Простим угрюмство – разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь - дитя добра и света,  
Он весь - свободы торжество! –*

Блок хотел бы, чтобы в грядущем так сказал о нем «юноша веселый». О торжестве какой свободы идет речь, спрашиваем мы себя. Так много было в его поэзии разных «свобод»!

Подсказку дает нам Блок в одном из последних стихотворений: «Пушкин, тайную свободу/ Пели мы вослед тебе» («Пушкинскому Дому»).

Подробнее он сказал об этом в своей речи «О назначении поэта». В 1921 году. В год своей смерти. Все, наверное, помнят первые строки пушкинского стихотворения: «Пока не требует поэта/ К священной жертве Аполлон...» Так вот, по мнению Блока, античное божество, покровитель поэзии и искусств, от поэта требует, во-первых, «бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину». Во-вторых, мастерства: поднятые из глубины звуки заключаются в форму слова, образуют единую гармонию. Для того и другого потребна творческая, или тайная, свобода.

В той же статье он говорит, – уже имея в виду себя, но не только себя, – что эту «тайную свободу» у художника отнимают чиновники от искусства. «И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Да, Блок умер, когда перестал слышать претворенную в звуки гармонию, еще до слов, – музыку бытия...

– Но при чем же тут Христос? – спросите вы меня.

Я понимаю, насколько условно это противопоставление: Христос и Аполлон. Но для Блока оно существует, как, вероятно, для каждого крупного поэта, «любимца богов». В беседе о Тютчеве, а еще раньше о Батюшкове, мы уже касались непростых переплетений христианских и античных мотивов в поэзии. Известно: Блок очень ценил стихотворение Тютчева «Два голоса». Вероятно, соотносил со своей судьбой финальную строфу: «Пускай Олимпийцы завистливым оком/ Глядят на борьбу непреклонных сердец:/ Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,/ Тот вырвал из рук их победный венец». Так под чьей же эгидой творит поэт – Бога или богов?

Христианские богословы не устают повторять: человек – как творец – соучастник Божьего творчества. В минуту вдохновения он ближе к Небу, чем когда бы то ни было. Поэт потому и пророк, что Господь говорит его устами... С другой стороны, даже такой «авторитет в области православия и литературоведения, как Никита Струве, пишет в статье «Трагическое неверие» (о Марине Цветаевой): «Говорить о религиозном мире поэта всегда опасно и даже двусмысленно. Поэзия – прямое наитие, поэт «естественный пророк, взыскуемый таинственной музой, божеством, а не Богом, Аполлоном, а не Христом»<sup>20</sup>.

Книгу стихов Блока 1909-1916 гг. открывает стихотворение «К Музе».

---

<sup>20</sup> Н. Струве. «Православие и культура». «Христианское издательство». М. 1992.

*Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятье заветов священных,  
Поругание счастья есть.  
И когда ты смеешься над верой,  
Над тобой загорается вдруг  
Тот неяркий, пурпурово-серый  
И когда-то мной виденный круг.  
...Я не знаю, зачем на рассвете,  
В час, когда уже не было сил,  
Не погиб я, но лик твой заметил  
И твоих утешений просил.  
Я хотел, чтоб мы были врагами,  
Так за что ж подарила мне ты  
Луг с цветами и твердь со звездами –  
Все проклятье твоей красоты?*

Стихи эти знамениты, многими любимы и, конечно, прекрасны как стихи. Но если следовать терминологии самого Блока, который, помните, в письме к невесте назвал одно свое стихотворение «христианским», то это скорее «антихристианские» стихи. Современный поэт (Н. Коржавин) сказал о них еще резче: «игра с дьяволом». Приходилось мне читать и о «злом духе прелести», посещавшем поэта. «Злой дух прелести» – это властный соблазн, овладевающий именно обессиленным человеком. Если Блок осознавал себя игральным независимых от него роковых сил, тогда становится понятна загадочная строка: «Я хотел, чтоб мы были врагами». С античных времен его предшественники просили милостей Музы, олицетворяющей вдохновение, присягали ей на верность, объяснялись в любви.

Кончатся стихи забываемо:

*И была роковая отрада  
В попираньи заветных святынь,  
И безумная сердцу услада –  
Эта горькая страсть, как полынь!*

Да это же переключка со словами Дмитрия Карамазова: «...попиранье всякой святыни, насмешка и безверие». «Попиранье святыни» тут присутствует, а насмешка – нет. Тут скорее боль, неизбывная мука – от горечи ли безверия, от сладости ли его, возмещенного «сокровенными напевами» о гибели. «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви», – признавался Блок в письме к А. Белому...

Однако и насмешка не заставила себя долго ждать. В тот же день, что и «К Музе», поэт пишет еще одно стихотворение:



*Зачем в моей стесненной груди  
Так много боли и тоски?  
И так ненужны маяки,  
И так давно постыли люди,  
Уныло ждущие Христа...  
Лишь дьявола они находят...*

О «демонизме» Блока (а поэт – сверхчувствительный радар современности) можно говорить много. В «Лермонтовской энциклопедии», в статье о Блоке, перечислены многие стихи и циклы стихов, которые роднят двух поэтов и с этой стороны: «И я любил. И я изведал...», «Песнь Ада», «Жизнь моего приятеля», два стихотворения «Демон» и др. Широко известен космический, пророческий образ, которым осенил Блок все наше столетие, в самом его начале.

*Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).*

Но в сторону это! Блок всегда искал противоядия от тех незримых облучений, каким подвергается любой живущий на земле, а поэт – десятикратно, от той смертельной дозы духовной радиации, что, может быть, предвосхитила радиацию вещественную. И самое сильное противоядие, которое он нашел, был... Но пусть поэт сам скажет об этом:

*Люблю высокие соборы,  
Душой смиряясь, посещать,  
Всходить на сумрачные хоры,  
В толпе поющих исчезать.  
Боюсь души моей двуликой  
И осторожно хороню  
Свой образ дьявольский и дикий  
В свою священную броню.  
В своей молитве суетливой  
Ищу защиты у Христа,  
Но из-под маски лицемерной  
Смеются лживые уста.*

Наверное, никто из русских поэтов с таким упорством, с такой временной протяженностью – от «Стихов о Прекрасной Даме» до поэмы «Двенадцать» – не искал, как Блок, «защиты у Христа».

В 1907 году он в письмо к Любви Дмитриевне Менделеевой вкладывает стихи:

*Ты отошла, – и я в пустыне  
К песку горячему приник.  
Но слова гордого отныне  
Не может вымолвить язык.  
О том, что было, не жалея,  
Твою я понял высоту:  
Да, ты – родная Галилея  
Мне – невоскресшему Христу.  
И пусть другой Тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где приклонить Ему главу.*

Какие бы жизненные обстоятельства ни вызвали к жизни эти строки, в них, как всегда у Блока, сказалось гораздо больше, чем обычно в лирическом послании. Целомудрие не позволило автору уподобить отошедшую от него женщину реальному евангельскому прототипу, Марии Магдалине, например. Он сравнивает ее с Галилеей, землей, взрастившей Иисуса, местом, где началась Его проповедь. Это очень по-блоковски: сравнить любимую женщину с родной землей. У многих на слуху: «О, Русь моя! Жена моя!..» Христа он называет Сыном Человеческим, – в наших беседах мы впервые встречаемся с таким наименованием. Так говорит о Себе в Евангелиях сам Христос, выражение это повторено 70 раз, видимо, как характерное для Него. Оно несет двойной смысл: общепринятый – «Я, человек» и традиционно библейский: Сын Человеческий – носитель правды, верховный Судия... Не много ли берет на себя поэт, называясь Христом? Да, это поэтическая вольность, но ведь «невоскресший Христос» – это и не Христос вовсе! В Евангелии от Матфея (8, 20) читаем: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову...» Это ощущение внутренней бездомности, неуютя Блок пронесет через всю жизнь.

Однако это не первое обращение поэта к образу Христа. Безвременно ушедший Анатолий Якобсон, автор глубокой, исступленно честной (писалась в 1969-1970 гг.) книги «Конец трагедии»<sup>21</sup> считает, что «ближе других к тому Христу, которого мы знаем по поэме «Двенадцать», кроткий, «в цепях и розах» «агнец», что «пришел и

---

<sup>21</sup> Вильнюс – Москва /ВИМО/. 1992 г.

смотрит в окно тюрьмы» (стихотворение «Вот он - Христос», 1905 г.). Возможно, так оно и есть. Но пройти мимо метаморфоз блоковского образа Христа мы не можем.

Кто-нибудь обязательно скажет: никакие художественные взлеты не создадут образа Христа, хотя бы приближенного к евангельскому. Это – правда. Тем не менее литература об Иисусе Христе огромна. От Ренана («Жизнь Христа») до Александра Меня («Сын человеческий») – работ чрезвычайно содержательных – вышли в свет десятки, если не сотни, произведений, авторы которых, на свой страх и риск, стремились пересказать, восполнить, популяризировать, приспособить к запросам своего времени личность Спасителя человечества. И чем плотней смыкаются над нашим голубым шариком тучи (или темная аура, как выражаются чародеи), тем острее интерес к Тому, Кто сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

У Блока, поэта непредсказуемого, образ Христа причудливо видоизменяется. Можно умилиться, но трудно принять душой образ микро-Бога, которому молятся в болотах, в топях российских «твари весенние» – плод народной фантазии: «Мы и здесь лобызаем подножия / Своего, полевого Христа...» Однако из этого языческого мифа вырастает совершенно другая, мощная фигура Христа староверческого:

*Задебренные лесом кручи:  
Когда-то там, на высоте,  
Рубили деды сруб горячий  
И пели о своем Христе.  
И капли ржавые, лесные,  
Родясь в глуши и темноте,  
Несут испуганной России  
Весть о сжигающем Христе.*

Почему «сжигающем»? Речь идет о старообрядцах – «самосожженцах», поборниках старинной веры. Но только ли о них? Ведь не случайно эти стихи, начатые в 1907 году, Блок закончил в августе 14-го, когда уже шла I Мировая война. Чувствуя, что «вся она – на плечах России», он болел за свою Родину, думал об ее прошлом, боялся новых распрей. И снова прибегал к сказавшему на века вперед: «Да будут все едино» /Ин. 17, 21).

Эпитет «ржавый», близкий к цвету крови, приводит на память и другое стихотворение 1907 года, которое я особенно люблю. Но обойти его вниманием невозможно не только по этой причине. Оно многое объясняет в том, что, на поверхностный взгляд, кажется необъяснимым.

*Когда в листве сырой и ржавой  
Рябины заалет гроздь, –  
Когда палач рукой костлявой  
Вобьет в ладонь последний гвоздь, –  
Когда над рябью рек свинцовой,  
В сырой и серой высоте,  
Пред ликом родины суровой  
Я закачаюсь на кресте, –  
Тогда – просторно и далёко  
Смотрю сквозь кровь предсмертных  
слез,*

*И вижу: по реке широкой  
Ко мне плывет в челне Христос.  
В глазах – такие же надежды,  
И то же рубище на нем.  
И жалко смотрит из одежды  
Ладонь, пробитая гвоздем.  
Христос! Родной простор печален!  
Изнемогаю на кресте!  
И челн твой – будет ли причален  
К моей распятой высоте?*

Аполлон, Муза – это область свободного художества, это – «горькая услада» самого поэта и всегда узкого, как бы он ни был широк, круга читателей и почитателей. Там, где дело касается народа, России, «сораспятия» с ней, возникает со сверхлогической неизбежностью фигура Христа... Есть что-то символическое в том, что, безумно страдая перед смертью, во время одного из приступов он разбил кочергой маску Аполлона. А с кем остался? С Христом?..

Пусть Блок, подобно герою драмы «Роза и крест» Бертрану, любил свою суровую Родину «в мечте», – «кровь предсмертных слез», пролитых за нее, была абсолютно реальной. Он и революцию любил «в мечте»: «Она девушка. Это моя невеста!» – сказал А. Б[лок] о революции и поверил ей...» – пишет его близкий друг. Он и женщин любил «в мечте»: рыженькую, некрасивую Дельмас возвысил до непостижимой Кармен, поднял с земли на Небо: «Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо, / К созвездиям иным, не ведая орбит...»

Мечта и реальность – всегда ли они противостоят друг другу или в редких случаях уживаются, взаимообогащаются, «сопрягаются» потолстовски? Тогда возникает редчайший феномен – такой, как поэзия Блока. Ибо **трезвение**, – на языке христианских подвижников независимый ни от кого, объективный взгляд на вещи, свободный и от утешительных иллюзий, и от невольного самообмана, – было свойственно ему, как мало кому из русских лириков.

«История сама есть Страшный Суд» – эти шиллеровские слова любил Владимир Соловьев. Судя по всему, Блок разделял мысль немецкого собрата. Октябрь был возмездием за прошлое России, за «грехи отцов», о чем недвусмысленно говорит Блок в зацитированной статье «Интеллигенция и революция». Но без нее и нам не обойтись, только поворот другой, не политический. Готовность взять на себя крест чужого греха и жертвенно нести его до смертного своего часа – чувство глубоко христианское.

Обращение к теме «Двенадцати» – не из того же ли ряда?

Коллеги отмалчивались, злобствовали, уезжали. «Девушка»-революция уже казала страшный свой лик. Блок мужественно принял на себя огненную лавину многовековой ярости низов, всегда чаемой простонародьем вольницы, – и она накрыла его... Поэт, как было сказано выше, нуждается в освобождении гармонии, а то было освобождение хаоса. Но и хаос он, любимец Музы, обуздал как бы легко и даже весело, организовал – хотя бы ритмически, стихию ввел в стих. В уличных воплях расслышал реплики. Как ни односложны, ни грозны они были, их членораздельность, выявленная им, свидетельствовала: они принадлежат человеку разумному, а не его хвостатому предку. Вот почему «сегодня я – гений».

Любит ли Блок своих героев? Да! И «двенадцать» тоже? И «двенадцать»? Он вообще считал, что автор не может не любить свои создания. Когда-то, в молодые еще годы, настаивал на том, что Грибоедов любил и Фамусова, и Молчалина. Пришли критики и сказали: «осмеял».

Не забудем, что за самыми низкими явлениями повседневности для поэта вставали их высокие прообразы: «И я люблю сей мир ужасный:/ За ним сквозит мне мир иной,/ Обетованный и прекрасный,/ И человечески-простой». Это одна из редакций стихотворения «Да. Так диктует вдохновенье...» 1920 года, т. е. уже после «Двенадцати».

Давно замечено: число красногвардейцев совпадает с числом апостолов. Значит, это антихристов перевертень, – есть и такая точка зрения. Ванька, Петька, Андрюха – якобы передразнивание святых имен Иоанна Предтечи, Петра-Симона, любимого ученика Христа, Андрея Первозванного. Но, с другой стороны, в таких отрядах, действительно, было в среднем по двенадцать человек. Имена – самые распространенные на Руси.

Да, Блок слышал, работая над поэмой, страшный шум, «возрастающий», как он писал, «во мне и вокруг». Но стоит ли спешить с приговором: такой шум сопровождает появление бесовских легионов?.. И еще одно, абсолютно не «антихристово» явление: нота авторского сострадания к его отпетым героям: «Эх ты, горе-горькое,/ Сладкое житье!/ Рваное пальтишко,/ Австрийское ружье!»

Не будем отдавать Блока силам ада, как раньше не отдавали его –

тоже легионам – хвалителей искусственного, кровушкой политого рая на земле...

В какой-то счастливый момент, перечитывая поэму, я вдруг запнулась на последней строке. А не означает ли фраза «Впереди Иисус Христос» просто то, что Он еще впереди – у России, у времени, в которое живем?.. С удивлением и радостью обнаружила, что А. Якобсон предполагает то же самое: «Стена вьюги отделяет Христа от двенадцати, и разделяющее их пространство – символ разделяющего времени. «Впереди Иисус Христос» – значит: Христос в грядущем».

Близок к этому и Андрей Белый.

Сам Блок высказывался о своем творении противоречиво. Нам важно одно: он Христа не придумал – он Христа увидел. Вглядывался в снежные вихри, в ночь – и не без разочарования, по собственному признанию, увидел именно Того, а не Другого...

Пусть так, но какое-то важное звено нами упущено. Какое же?

Христос и время – тема философская, и рассматривать ее тут мы не будем. Заметим лишь, что Его присутствие в мире совершенно не считается с нашими временными координатами. В христианском Символе веры говорится, что Иисус Христос был рожден «прежде всех век», до начала творения. Своим ученикам Он объявил: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 15, 26). Эти «двое или трое» никак не привязаны ни к определенному месту, ни к определенному времени. Иначе современный православный священник не восклицал бы, обращаясь к предстоящим в храме: «Христос посреди нас!» И не слышал в ответ дружное: «И есть, и будет!»

«Пришел к своим, и свои Его не приняли» – это сказано с горечью не только об израильском народе. Это обо всех нас, – «труждающихся и обремененных», и о двенадцати – тоже...

То, что произошло с Россией в 17 году, как и то, что происходит со всеми нами сейчас, очень часто называют явлениями «апокалипсическими». Чародеи ссылаются на конец тысячелетия, пророчат новую эру, назначают, а потом отменяют, последние сроки. Если верить им, вот-вот начнется светопреставление. Хотя сказано в Евангелии: «...не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1, 7).

Что же пророчит нам христианская книга Откровение, она же Апокалипсис? Так ли она страшна, чтобы пугать ею верующих и неверующих?

Откровение Иоанна Богослова известно человечеству около двух тысяч лет. Невозможно даже беглым взглядом охватить все большие и малые «откровения», полученные людьми от разного рода пророков за столь долгий срок. Одни пророчества не переживают своих творцов. Другим дана магнетическая власть над людскими умами, но

и они не выдерживают проверки временем, обнажают свою ложную суть перед новыми поколениями.

Апокалипсис не стареет, а молодеет с годами. Думаю, не только меня охватило смятение, когда чернобыльская трагедия бросила острый луч на одно из «темных» мест Библии: речь идет о «звезде полынь», которая «пала на третью часть рек и на источники вод...» (Откр. 8, 10). Чернобыль и есть вид полыни. И сколько таких совпадений, реальных или предполагаемых, зафиксировала история! Да что отдельные совпадения, если в заключительной книге Писания угадано главное: несмотря на данную человечеству Благоую весть (Евангелие по-гречески), история развивается не согласно учениям утопистов, а совсем по другим законам: через войны, восстания, человекоистребление. Все это можно найти в символических образах Апокалипсиса.

Но слышать в бурном финале Книги Книг только ноты скорби и безнадежности, выуживать из нее одни ужасы – слишком распространенная ошибка нашего полужнания. Апокалипсис – обещание справедливого воздаяния: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (20, 12). Апокалипсис – книга утешения: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (21, 4). О благовестии новой земли и нового неба мы уже упоминали в начале беседы.

Апокалипсис говорит о том, что Завет (Союз), заключенный между Богом и человеком, еще принесет прекрасные плоды.

Нам, детям технократической цивилизации, живущим на пороге III тысячелетия от Рождества Христова, отравленным в равной степени скепсисом и диоксином, трудно поверить в это. Ну так пойдем на выучку к великим поэтам, и к первому из них, почти современнику нашему, Александру Блоку.

«Блоку верьте!» – Горький мог бы и не говорить этих слов, потому что Блоку веришь безоговорочно и без них: и его высоте, и его падениям, и его греховности, и его покаянию, и его безбожью, и проступающей сквозь него, как кровь из раны, – христианской вере.

«Апокалипсис» – называется одно из стихотворений молодого Блока, с эпиграфом из последней главы Откровения (22, 17): «И Дух и невеста говорят: прииди!» Цитирую дальше: «Жаждающий пусть приходит, и жаляющий пусть берет воду жизни даром».

А вот само стихотворение:

*Верю в Солнце Завета,  
Вижу зори вдали.*

*Жду вселенского света  
От весенней земли.  
Все дышавшее ложью  
Отшатнулось, дрожа.  
Преодо мной – к бездорожью  
Золотая межа.  
Заповеданных лилий  
Прохожу я леса.  
Полны ангельских крылий  
Надо мной небеса.  
Непостижного света  
Задрожали струи.  
Верю в Солнце Завета,  
Вижу очи Твои.*

В этом мажорном ключе я и хочу закончить свою книгу. «Золотая межа» русской поэзии, проникнутой библейскими мотивами, не только подводит «к бездорожью», от которого не свободна ни отдельная человеческая судьба, ни история в целом, но и выводит из него, показывает «жаждущим» и «желающим» Путь.



**ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ЖИРМУНСКАЯ**

**БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ**

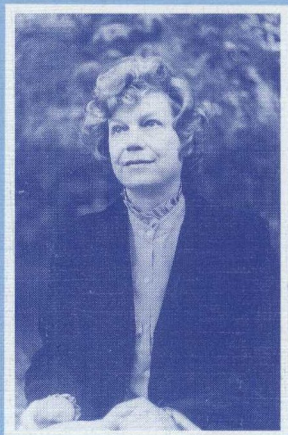
*Авторская редакция*

Подписано в печать 26.05.99.

Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9,45. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии Издательского дома «ГРААЛЬ»



Шесть сборников стихов  
и книга мемуарной прозы  
«Мы — счастливые люди»  
(«ЛАТМЭС», 1995)

итог сорокалетней работы

Тамары Жирмунской в литературе.

О них сочувственно отзывались в печати  
поэты Татьяна Бек и Владимир Корнилов,  
Инна Кашежева и Дмитрий Сухарев.  
Ее мемуары трижды попадали на хит-лист  
журнала «Огонек»,  
были названы «Книжным обозрением»  
в числе «самых нежных книг» года.

В основе книги «Библия и русская поэзия»  
беседы, прочитанные автором  
в различных аудиториях,  
от читателей Юношеской библиотеки  
на Беговой улице Москвы  
до слушателей «Радио России».  
Большая часть из них была опубликована  
в журналах «Юность» (1994 г.)  
и «Истина и жизнь» (1996-1999 г.)

Тамара Жирмунская — член Союза писателей Москвы  
и Русского ПЕН-центра.